

Начала

$\frac{1}{1992}$
•


РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ
ЖУРНАЛ

НАЧАЛА

№ 1

МОСКВА ● 1992

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. В. Скоробогатько (главный редактор),
А. Т. Казарян (зам. главного редактора),
В. Г. Аладыш,
Л. Е. Моторина

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:

А. Т. Казарян, Л. В. Федорова, Н. В. Скоробогатько

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:

450-16-97

Пятьдесят пять лет тому назад в Томске трагически оборвалась жизнь находившегося там в ссылке выдающегося философа и психолога, литературоведа и переводчика, зачинателя русской семиотической школы Густава Густавовича Шпета. Этот номер журнала «Начала» целиком посвящен его светлой памяти.

Редакция благодарна родственникам Г. Г. Шпета — его дочери М. Г. Шторх и внукам М. К. Поливанову и Г. В. Вальтеру за предоставленные материалы и помощь в подготовке номера, а также Д. В. Иванову, Л. В. Федоровой, нашим коллегам из Италии и из Томска, всем авторам, принявшим участие в этом выпуске.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. К. ПОЛИВАНОВ.</i> Очерк биографии Г. Г. Шпета	4
<i>М. ВЕНДИТТИ, Л. В. ФЕДОРОВА.</i> В поисках точного смысла (Предисловие к публикации)	26
<i>Г. Г. ШПЕТ.</i> Работа по философии	31
<i>Г. Г. ШПЕТ.</i> Шпет (Статья для энциклопедического словаря «Гранат»)	50
<i>А. А. МИТЮШИН.</i> О том, как «делается» история русской философии (Комментарий к статье «Шпет»)	52
<i>Г. Г. ШПЕТ.</i> Письма из ссылки (Публикация М. Г. Шторх, предисловие к публикации М. К. Поливанова)	55
<i>М. Г. ШТОРХ.</i> Немного прошлого	62
Письма к Г. Г. Шпету: Андрей Белый, Н. Н. Лузин, Д. Заславский, Ф. Ф. Березжков, Л. П. Гроссман (Публикация М. Г. Шторх)	63
Об «Эстетических фрагментах» Г. Г. Шпета (Публикация работы неизвестного автора. Предисловие М. К. Поливанова)	70

БИБЛИОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

<i>А. А. МИТЮШИН.</i> Библиография печатных трудов Г. Г. Шпета	89
<i>И. Л. БЕЛЕНЬКИЙ.</i> Из литературы о Г. Г. Шпете	92
<i>М. ВЕНДИТТИ.</i> Об изучении творчества Г. Г. Шпета в странах Западной Европы и Америки	93
Первые Шпетовские чтения	94

М. К. ПОЛИВАНОВ

ОЧЕРК БИОГРАФИИ Г. Г. ШПЕТА*

1. Вместо предисловия

«Я родился в 1879 году. Год, знаменательный тем, что непосредственно за ним начались восьмидесятые годы. В России, конечно. За границей он даже и этим не замечателен»**. Такую запись сделал в одной из записных книжек Густав Густавович Шпет под многозначительным заголовком «Эстетическая биография человека 50 лет». И больше к этому замыслу не возвращался.

Запись эта относится к 1928 году. Год, замечательный тем, что Сталин окончательно пришел к власти и следующий год назвал «годом великого перелома». В России, конечно. Заграница же нас почти не будет интересоваться — и жизнь, и философия Г. Г. Шпета — одного из первых наших европейских философов — были кровно связаны с Россией.

Г. Г. Шпет не вернулся к своему плану, так как уже на следующий год — как раз тогда, когда он намечал начать свои записки (ему именно исполнилось 50 лет в этом году), — «великий перелом» коснулся его непосредственно. А еще через год была разогнана Государственная Академия художественных наук (ГАХН), вице-президентом которой он был; он лишился работы, и началась его последовательная травля, которая закончилась через 6 лет арестом и ссылкой...

* Предлагаемый вниманию читателей текст представляет собой сокращенный вариант «Очерка». Полностью он будет опубликован в сборнике «Минувшее» в 1992 г.

** Не оговоренные цитаты в этом очерке взяты из записных книжек Г. Г. Шпета, хранящихся в семье. Большая часть биографических данных известна мне из семейных рассказов матери и теток, а также учеников Густава Густавовича Н. И. Жинкина и А. А. Губера.

2. Семья и эпоха

Г. Г. Шпет родился в Киеве в Благовещенье 25 марта (7 апреля) 1879 года. Что он имел в виду, когда подчеркивал, что родился накануне восьмидесятых годов России? Конечно, привычную их характеристику: годы реакции, годы тупой бездуховной охранительной тенденции, годы застоя:

Победоносцев над Россией
Простер свиные крыла...

Но через сто лет мы видим и другое содержание восьмидесятых годов. На эти годы приходится детство тех людей, благодаря которым состоялся короткий русский ренессанс, оборванный в расцвете 1917 годом. Давно замечено: годы рождений наших лучших поэтов, художников, писателей, философов, филологов, ученых-естественников приходятся на короткий промежуток с 1875 по 1895 год. Здесь, что ни имя,—яркая личность, человек с индивидуальностью и судьбой (чаще всего — горькой). Значит, было что-то в воздухе 80—90-х годов, что привело к этому расцвету, в частности, гуманитарной культуры. Видимо, это была не губительная зима, а холодная и медленная, по мнению современников, весна в русской жизни...

Непосредственно пореформенное время характеризуется, скорее всего, бурным ростом довольно безответственной журналистики, самоуверенного нигилизма, бесшабашного радикализма. В 90-е годы процесс изменений не прекратился, реформа продолжала плодоносить... В историческом воздухе еще слышны взрывы бомб, но характерной фигурой русского общества в эти годы стал университетский профессор, а не террорист с бомбой. Вызревали новые настроения. Морозы прибили сорняки, но не заглушили роста людей «серьезных, мыслящих, знающих». На университетских кафедрах мы видим Ключевского, братьев Трубецких.

Блок отмечает: «Профессор лучших времен Петербургского университета был тем самым общественным деятелем, он *берег Россию*»*. Этот подспудный слой русского либерализма, еще не разбившегося на партии, еще не взявшего ни за какую политическую деятельность, и был той светлой силой, которая питала мальчиков и девочек 80—90-х годов.

Блок — почти ровесник Г. Г. — в уже цитированном «Возмездии» заставляет своего героя родиться в «неблагополучной» семье: мать его вернулась в отчий дом (ректорский флигель Петербургского университета), как известно, с ребенком на руках, навсегда

* Блок А. Собр. соч. Т. 3. — М., 1960. — С. 463.

расставшись с отцом ребенка. Блок был очень чуток к подспудным токам истории, к ее характерным фигурам, и его выбор определялся не только собственными биографическими чертами.

В семье Г. Г. эта ситуация была доведена до *pes plus ultra*. Марцелина Осиповна Шпетт (1860—1932) принадлежала к обедневшей шляхетской семье в Волыни. Отец Густава — мадьярский офицер Кошиц, — может быть, и не собирався жениться на полукрестьянской девушке. Во всяком случае, он исчез из ее жизни еще до рождения сына, и о нем в семье никогда не говорили. Зато Марцелина Осиповна сама рассказывала внукам о своей торжественной и патриархальной свадьбе со старшим дальним родственником Яном Густавом Болеславом Шпеттом: свадебный поезд в Волыни, польские обычаи, вино, которое пьют из тувельки невесты, — все, как в балладе Словацкого. Но семья и не должна была получиться. Немедленно после свадьбы Марцелина Осиповна уехала в Киев, где родила и воспитывала сына, зарабатывая на жизнь стиркой и шитьем. В анкетах послереволюционного времени Г. Г. писал: «мать — швея» . . .

При знакомстве с характером, и даже с научным творчеством Г. Г., мы видим в нем два начала. Одно — спокойное, ровное, рассчитанное на всю жизнь. Его можно назвать положительным и оптимистическим. Другое — несдержанное, вспыхивающее время от времени каким-то уничтожающим взрывом грозного скепсиса, презрения к людям, почти ненависти (меоническое начало, как мог бы сказать Г. Г.). В биографической ситуации Г. Г. положительное начало очень естественно связывается с образом матери, обладавшей той крестьянской целостностью отношения к жизни, которая в наш век представляется почти недостижимой. В ней мы ничего не найдем от второго — «демонического» — начала.

Каков был отец Г. Г., мы не знаем и никогда знать не будем. Но не уместно ли сопоставить его месту в жизни мальчика опять строки Блока:

Отца я никогда не знал,
А он от первых лет сознанья
В душе ребенка оставляя
Тяжелые воспоминанья.

Внушал тоску и мысли злые
Его циничный, тяжкий ум,
Грязня туман сыновних дум.

Тоска и мысли злые Г. Г. не восходят ли к его отцу, если не генетически, то через двусмысленное положение незаконного сына, воспитываемого одинокой матерью?

3. Университет св. Владимира (Lehrjahre)

В эти годы сын швен без особых трудностей, видимо, поступает примерно в 1898 году в университет св. Владимира в Киеве и

проводит там восемь лет сначала на физико-математическом, а затем на историко-филологическом факультете. Мы знаем, что за это время он несколько раз исключался из университета и даже успел какое-то время посидеть в тюрьме за участие в студенческих кружках и демонстрациях.

Какими настроениями жил тогда университет? Разбухшая реформой жизнь уже не могла вернуться в прежние рамки. Пятнадцать лет назад на лекции Достоевского и Вл. Соловьева собирались тысячные толпы. Теперь их нет. Кое-кто прислушивается к Толстому, но больше собираются по студенческим кружкам, чтобы обсуждать общеобразовательные брошюры. Привлекает безопасная пока фронда нигилистических настроений. Читая Чернышевского, штудируют «Капитал».

Не всякую мысль осилишь в полуподпольном кружке. Набирает силу кампания по ликвидации безграмотности, и в популярных брошюрках разливается то море самоуверенной полуобразованности, которое через несколько десятилетий захлестнет Россию. Развивается поляризация идейных настроений. Достоевского и Вл. Соловьева уже тогда отлучают от передовой мысли. Эти имена уже связывают с ненавистным Победоносцевым, с «черной сотней». Напротив, Чернышевский превращается в некритуемую икону. Ведь недаром и сорок лет спустя столпы русского либерализма опустили главу о Чернышевском, печатая в эмигрантском парижском журнале «Дар» молодого Набокова.

XIX век был по преимуществу веком развития точных знаний. Успехи математики и естественных наук как бы создали новые стандарты объяснительной науки. Человеческая мысль, окрыленная этими успехами, смело обратилась от проверенных областей к новым — все подсудно человеку, все человеку доступно. Дело только за временем. Торопливо расправившись с «Происхождением семьи, частной собственности и государства», новые философы решили, что в новом мире, освобожденном от предрассудков, они не только все объяснят, но и все переделают в соответствии с рациональным подходом и скороспелыми объяснениями.

Еще никто не подозревал, как близка к банкротству эта новая и храбрая философия. Марксизм носился в воздухе, был модой, был поветрием, захватившим на первых порах таких разных и серьезных мыслителей, как П. Б. Струве, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев. С марксизмом Г. Г. познакомился, еще будучи студентом физико-математического факультета. Вероятно, именно за то, что он почитывал, попрытывал, передавал, то есть «распространял», марксистскую литературу, он и был исключен на время из университета. Но Г. Г. был уже знаком в то время с научным методом математики; и, вероятно, уже тогда марксизм не мог его удовлетворить в силу чисто методологических оснований, как недостаточно серьезная, научно не выдержанная философия. Немного позже, в студенческом докладе 1903 года, он говорит: «Заслуги марксизма не оценены, и это заставляет отно-

ситься к нему с уважением. Но марксизм впал в целый ряд ошибок, гносеологических и методологических»*.

Во всяком случае, восстановившись в университете, Г. Г. оказался уже на историко-филологическом факультете, где его вкус к серьезной философии, *risomata panton* (основам всего), мог быть полнее удовлетворен. Это был первый сознательный шаг на том пути, которого затем Г. Г. держался неукоснительно...

Мы подходим к центральному событию университетских лет Г. Г. и едва ли не главному событию его жизни как философа. В 1898 году при университете св. Владимира начала свою работу Психологическая семинария Г. И. Челпанова. Название «психологическая» не следует понимать в современном смысле. В конце XIX века остро стояла задача становления философской психологии — науки о душе — и задача очищения философии от психологизма, психологии — от ложного логизма (впоследствии, упоминая об этих понятиях, Шпет писал, что именно в русской философии через Юркевича, С. Трубецкого и Лопатина «один путь психологии» ведет к истинной полнокровной философии**).

Более половины тем занятий семинара были чисто философскими. Видимо, и психология интересовала Челпанова прежде всего как настоящее «естественное» основание философии, как та сфера, где происходит образование понятий и которая в то же время допускает анализ этого процесса почти на грани естественных наук, только иными средствами. Атмосфера серьезных занятий серьезным делом в тесном, почти семейном кружке как нельзя лучше отвечала самому духу гуманитарных наук.

Вот отзыв князя Е. Н. Трубецкого, в то время профессора Киевского университета, на заседании, посвященном пятилетию работы семинара Челпанова, в феврале 1903 года:

«Моим идеалом всегда была не немая аудитория, а самодеятельная. Я хотел бы видеть в студентах сотрудников, младших товарищей..., и здесь я вижу осуществление этого идеала. Но не только это радует меня. Я замечаю необычайное поднятие философского образования... Когда после продолжительного перерыва я возобновил свои занятия на этом самом месте, я был поражен успехом, который аудитория сделала в мое отсутствие... Выступало много ораторов, обнаруживших зрелую мысль, философскую подготовку, разностороннюю эрудицию... Это были члены психологической семинарии. А что было лет семь назад? Тогда каждый заявлял себя или материалистом, или позитивистом...»***.

* Отчет о деятельности Психологической семинарии при университете св. Владимира за 1902—1906 годы//Философские исследования. — Киев, 1907. — Т. 1. Вып. 4. Паг. III. С. 2.

** Шпет Г. Г. Один путь психологии и куда он ведет//Философский сборник: Л. М. Лопатину к тридцатилетнему научно-педагогической деятельности от Московского Психологического общества (1881—1911). — М., 1912. — С. 245.

*** Отчет о деятельности Психологической семинарии при университете св. Владимира за 1902—1906 годы//Философские исследования. — Киев, 1907. — Т. 1. Вып. 4. Паг. III. С. 3.

Сам Челпанов, говоря на этом же заседании о своем семинаре, прежде всего подчеркивает необходимость широкого философского образования: «Идеалистом быть нелегко. Для этого нужно иметь обширную научную и философскую подготовку... Я знаю, что не избежну упрека в педантизме, но я все-таки скажу: если хотите быть идеалистом, изучите все частные философские дисциплины: психологию, логику, теорию познания, историю философии, — и тогда предстанут перед вами те проблемы, которые неизбежно приводят к философскому идеализму»*.

Шпет на этом юбилейном заседании делает доклад с очень характерным названием: «О социальном идеализме», из которого мы уже цитировали оценку заслуг и ошибок марксизма. Этот доклад заканчивается следующими словами: «Без введения метафизики в науку обойтись нельзя. Она богаче опыта, ибо ближе к жизни. Философский идеализм призван дать нам объективно обоснованный идеал, и мы должны пойти ему навстречу, осуществляя по дороге в царство целей все эмпирически возможные социальные идеалы»**.

Мысль о значении метафизики подана сознательно парадоксально (что вообще характерно для Шпета) и в том году звучит, как вызов. Но на самом деле здесь сформулирована целая философская программа. Через десять лет она будет более развернуто изложена в его речи на открытии Московского общества по изучению научно-философских вопросов, которую он затем включит в книгу «Явление и смысл».

Вот список тем, которыми занимались в семинарии Челпанова в 1903—1906 годах, когда там работал Шпет***:

Осенний семестр 1903 года: учение о причинности у Декарта, Спинозы, Канта, Зигварта; сравнение Юма и Канта; теория познания у Юма и Канта. Шпет сделал три доклада о причинности у Юма и доклад «Вопрос о необходимой связи у Юма». Позднее, в 1907 году, по этим материалам Шпет опубликовал в «Философских исследованиях» (под редакцией Г. И. Челпанова) большую работу «Проблемы причинности у Юма и Канта».

Весенний семестр 1904 года: основная тема — о взаимодействии между физическими и психическими явлениями. По материалам этих студий Шпет напишет свое конкурсное сочинение «Память в экспериментальной психологии», получившее золотую медаль университета св. Владимира. Оно было опубликовано в Киеве в 1905 году.

Осенний семестр 1904 года — основные вопросы теории познания (Беркли, Кант, Спенсер, Мах и Авенариус).

* Отчет о деятельности Психологической семинарии при университете св. Владимира за 1902—1906 годы//Философские исследования. — Киев, 1907.— Т. 1. Вып. 4. Пар. III. С. 4.

** Там же. — С. 3.

*** Там же — С. 7—11.

Осенний семестр 1906 года — об обосновании этики (Гюйо, Вл. Соловьев, Гартман, Вундт, Шопенгауэр).

Судя по этому списку и по отзыву князя Е. Трубецкого, семинар Челпанова был редким даже в те годы в русской университетской жизни по серьезности, научной широте и тщательности выбора направления. Шпет сформировался как философ, как ученый именно в этом семинаре. Его работы тех лет уже отмечены той самой дисциплиной ума, страстью к выявлению и обсуждению всех предшественников, той тонкой диалектикой и стремлением представить философию как знание, которые характерны для зрелых трудов Шпета.

На эти годы падают и другие события в жизни Г. Г. Шпета. В начале 1904 года он женится. Он познакомился со своей будущей женой Марьей Александровной Крестовской (1870—1940) за четыре месяца до этого и очень скоро сделал ей предложение. Она отказала. Ее многое смущало, и прежде всего разница в возрасте — ей было уже за тридцать. Но Густаву Густавовичу Шпету никогда не изменяло обаяние и умение убеждать — 25 января 1904 года они венчались. Через год, 13 января 1905 года, у них родилась дочь Ленора (1905—1976)... В 1908 году, уже в Москве, родилась вторая дочь — Маргарита (1908—1989), а в 1912 году после долгих и мучительных переживаний они расстались...

4. Московские каникулы. *Wanderjahre*

В 1906 году Челпанов становится профессором Московского университета и товарищем председателя Московского Психологического общества. На следующий год он приглашает в Москву Шпета.

Начинается новый период в жизни Шпета. Но и в жизни всего русского общества начался новый период: время «между двух революций», как позднее определил его Андрей Белый. Завязываются новые знакомства в ученой среде и в среде литературно-художественной элиты тех лет. Среди друзей Г. Г. Шпета мы встречаем не только М. О. Гершензона, С. Л. Франка, В. Ф. Эрн, Л. И. Шестова, профессора физики А. И. Бачинского, но и Андрея Белого, Юргиса Балтрушайтиса, Н. К. Метнера, В. И. Качалова. Мы видим Г. Г. в «Мусажете» — литературном кружке, в котором центральную роль играл Андрей Белый. Талантливый собеседник, эрудированный философ, жестокий спорщик, Шпет сразу оказывается в центре этой легкой, веселой жизни, в процессе которой создается культура тех лет...

Однако Шпет продолжает и серьезную работу*. В 1909 году он ведет занятия в Алферовской гимназии, собирает материалы к

* После переезда в Москву Шпет читает лекции: в 1907—1908 гг. — на ВЖК и Педагогических курсах, с 1909 г. — в Народном университете Шапьявского, с 1910 г. — в Московском университете.

замыслу книги по истории педагогики. В 1911—1912 годах читает лекции на Высших женских курсах Герье (ВЖК) и в Московском университете. В 1912 году выходят его лекции по логике, читанные на ВЖК*.

С 1910 года он начинает ездить в заграничные университеты. В 1910 и 1911 годах он едет на летний семестр в Геттинген. В 1912 году он едет туда уже вместе с семьей. Там же происходит и окончательный разрыв Г. Г. с Марьей Александровной. Семья остается в Германии, потом переезжает в Женеву, а Г. Г., вернувшись в Москву, в 1913 году венчается с Натальей Константиновной Гучковой, своей бывшей слушательницей в Елизаветинском Педагогическом институте, племянницей известного Александра Гучкова.

Разрыв с Марьей Александровной и новый брак, видимо, нелегко достались и самому Г. Г. Его мать не сразу приняла новый брак. Г. Г. настоял на своем праве сохранять отношения со старой семьей. Он навещал их в Германии и в Женеве, а когда они вернулись в Москву, еженедельно приходил к ним обедать и тщательно следил за воспитанием дочерей.

Кстати, возвращение в Москву после начала войны произошло тоже по его настоянию. Марья Александровна после крушения семьи не любила России и совершенно серьезно собиралась остаться в Швейцарии. Скромные собственные средства у нее были. Девочки уже начали ходить в школу. Но когда началась война, Г. Г. настойчиво потребовал немедленного возвращения в Москву. Это было очень трудно сделать. Г. Г. обратился за помощью к нескольким профессорам немецких университетов. Благодаря их покровительству семья из двух пожилых женщин и двух маленьких девочек смогла пересечь Германию на положении интернированных. После нескольких дней оформления документов в Ростке они морем отправились в Швецию и оттуда — в Петербург. В Москве их ждала квартира, снятая Г. Г. для них в новом доме на Остоженке.

Со стороны Г. Г. это было сознательное отношение к эмиграции. Он обдумывал для себя этот вопрос еще в 1905 году, когда в России начались революционные беспорядки. После революции друзья предлагали ему эмигрировать. Юргис Балтрушайтис был послом Литвы в Москве и мог помочь оформить Шпету и его семье литовские паспорта. В 1922 году, когда готовилась высылка из России большой группы русских профессоров, на какой-то стадии его имя фигурировало в списках. Однако Шпет приложил все усилия к тому, чтобы его из них исключили, и сумел остаться в Москве.

* См.: *Шпет Г. Г. Логика*: В 2 ч. — М., 1912. — (Литографированное издание записок слушательниц).

5. Wanderjahre, 2

Поездки за границу — главным образом, в Геттинген, но также в Берлин, Эдинбург и в Париж — продолжались до самой войны. Именно в это время Шпет становится «гуссерлианцем», окончательно складывается его философский профиль.

Я спрашивал одного из ближайших учеников Г. Г. Шпета, Николая Ивановича Жинкина, почему Шпет выбрал Геттинген и Гуссерля в качестве своей основной философской школы? Он ответил мне, что ко времени поездок за границу у Г. Г. были уже совершенно установившиеся философские взгляды, но он понимал, что настоящую философскую школу сможет пройти только в Германии. Однако большая часть немецких университетов находилась под влиянием философии Канта, для него неприемлемой, и поэтому он выбрал Гуссерля как наиболее свободного от кантианства.

Во многих высказываниях Шпета действительно проглядывает неприятие Канта. На первый взгляд, это даже странно, так как одной из основных черт философской мысли самого Шпета нам представляется рационализм. Он сам был горячим и убежденным защитником рациональной мысли. Но свой рационализм он охотнее возводил к Лейбницу и Вольфу, прямо к Платону. Его основная претензия к Канту состояла в том, что Кант методологическое рассечение феномена и вещи углубляет и закрепляет, в результате чего остается в мире голых абстракций и теряет всякую связь с целым и истинным предмета как конкретной данности живой жизни. Канта он рассматривал прежде всего как творца и родоначальника современной отрицательной («меонической») философии, к которой он относил эмпирицизм, субъективизм, релятивизм и пр. Вообще трудно отнести Шпета к какой-то школе мысли, к какой-то «философской системе». Мне кажется, сам он старательно воздерживался от определенных высказываний на этот счет. С его точки зрения, философия есть точная наука, постепенно и с трудом вырабатывающая свои истины. Философию как мировоззрение он вообще в значительной мере отрицал. И потому он умел находить отдельные философские истины у многих, в том числе, разумеется, и у Канта.

Думаю, в том, что Шпет соглашался называться гуссерлианцем, было больше чувства благодарности школе, чем прямой принадлежности философскому направлению. Поэтому попробуем понять философский облик Шпета, не прибегая к установившимся школьным определениям.

Мы уже говорили об одной определенной черте — он был рационалистом. Он был глубоко убежден в том, что передать и сформулировать, объяснить и закрепить в словах можно все, что мы «знаем». Пожалуй, он был противником апофатического метода, но не столько потому, что считал все выразимым дискурсивно, сколько потому, что только то, что может быть рационально

уяснено, он считал предметом философии. Он признавал наличие «невыразимого» и не отказывался его упоминать. Так, в статье «Сознание и его собственник»* (1916) он прямо говорит о том, что, в конечном итоге, «Я» есть то, что может быть названо по имени, и это «имя собственное» служит обозначением того главного и невыразимого, что составляет существо личности. Но он не выносил того, что это «невыразимое» пытаются определить с помощью трюков, которые он по праву считал псевдологическими (вроде пресловутой «вещи в себе»). За ними он видел или слабость и лень мысли, которая не умеет осознать, что там, где кончается дискурсивное объяснение, надо смело признать границу философского рассуждения, или попытку ввести мысль в заблуждение, нагромождая термины и искусственные построения, сводящиеся к *idem per idem*.

Он не отрицал ни интуиции, ни скептического «эпохе» — воздержания от суждения. Но тому и другому он отводил свое четко ограниченное место. То и другое оставалось для него чисто вспомогательными средствами для диалектики — для дискурсивного *ratio*, основного устрояющего средства философии. Эмпиризм, критицизм, скептицизм он рассматривал как примеры отрицательной философии. Интересно, что догматическую философию он приравнивал к скептической, не прощая ей того, что через серию антиномий она подводит к принятию таким апофатическим способом добытого догмата (характерное суждение об о. Павле Флоренском как о «скептике с изнанки», высказанное по поводу его «Столпа» в статье «Сознание и его собственник»).

Он не отрицал телеологических построений, но требовал, чтобы «телос», пускай, подсказанный первоначальной интуицией, был выработан далее диалектически в процессе философского рассуждения, а не навязан извне. Он не боялся длинных цепочек рассуждений, а прямо любил их. Напротив, афористическую манеру он называл «слабостью мысли», «анемией мозга».

Очень характерно, что одно из главных его сочинений «История как проблема логики» (магистерская диссертация, защищенная в 1916 году в Московском университете, толстый том в 476 страниц большого формата) несет подзаголовок «Часть 1. Материалы»**. И действительно, основное содержание этой книги составляют разбор и критика докантовских философов XVIII века в их высказываниях об истории.

Можно сказать, что Шпет предпочитал ставить проблемы, а не решать их, и его недоброжелатели на этом основании утверждают, что Шпет-де был более силен в критике, нежели в самостоятельном творчестве. Однако глубина и обоснованность его постановок уже несли в себе все возможные элементы решения.

* См.: Шпет Г. Сознание и его собственник // Сборник Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве, 1891—1916: Статьи по философии и психологии. — М., 1916. — С. 156—210.

** См.: Шпет Г. Г. История как проблема логики: Критические и методологические исследования. Ч. 1. Материалы. — М., 1916.

Известно, что Шпет не любил привычного противопоставления материалист — идеалист, и на вопрос, кем же он себя считает, любил отвечать — реалистом. Но если мы вспомним высказывания о материализме еще в киевский период и Челпанова, и самого Шпета, нам уже не будет казаться странным, что в тех редких случаях, когда он говорит о материализме, он фактически отказывает ему в имени философии. А слово «реалист», вообще характерное для новой философии и для Гуссерля, мне кажется, он заимствовал у П. Д. Юркевича, откровенно «идеалистического» философа XIX века, близкого к богословам Киевской Академии, которого Владимир Соловьев называл своим учителем.

О Юркевиче Шпет написал специальную монографию*, и, когда ее читаешь, трудно отделаться от впечатления, что перед нами изложение системы, **очень** близкой Шпету. Действительно, там, где он поправляет и уточняет Юркевича, он вкладывает в это **очень** свои чувство и мысль. Там, где говорит о философской родословной Юркевича, он называет имена из своего Пантеона. Именно Платон, но не в неоплатоническом развитии, то есть решительно не Плотин. Именно Гегель, но в реалистической традиции. Кант — только лишь как учитель строгой мысли, но зато твердое отрицательное отношение к Канту в целом. В связи с Платоном Шпет отмечает у Юркевича характерную трезвость мысли (черта, которую он сам в себе ценит чуть ли не выше всего). Но в контексте Юркевича эта трезвость прямо относит нас к святоотеческому источнику: к духу *трезвения* мысли, который настойчиво проводится в православной духовной традиции, начиная с греческих Отцов Церкви.

6. КАИРОС (годы расцвета)

На 1914—1927 годы падает наиболее плодотворный период философского творчества Шпета. В 1914 году опубликована его первая большая монография «Явление и смысл», знакомящая «русского читателя с идеями феноменологии Гуссерля», но содержащая и собственные идеи в развитие и исправление Гуссерля. В качестве предисловия она содержит речь, произнесенную 26 января 1914 года на открытии Московского Общества по изучению научно-философских вопросов, в которой Шпет говорит о задачах и методах философии, о ее месте в обществе и во времени. Речь звучит как манифест: «Философия в специфическом значении... ограничивается метафизикой *μετα τα φυσικά*: область принципов, начал, оснований... Она в сущности — едина и традиционна от Платона до наших дней...

Наше время осознало и сформулировало как свою задачу найти идею общего основания, единого для всех наук... Это должно быть

* Шпет Г. Философское наследие П. Д. Юркевича (к сорокалетию со дня смерти). — М., 1915; Вопросы философии и психологии. 1914. Кн. 125 (V). См. также: Юркевич П. Д. Философские произведения. — М., 1990. — С. 578—638.

не прагматическое «до-теоретическое» знание... Мы его усматриваем в обыденном, если угодно, знании, в жизненном знании, почерпнутом из целого, еще не ограниченного рамками рассудочного (методического) раздробления... Сквозь меняющееся и текущее мы проникаем умственным оком к вечному и непреходящему бытию... Мы не только видим, но и разумеем...

В социальном бытии... за оболочкой слов и логических выражений, закрывающих нам предметный смысл, мы снимаем другой покров объективного знака, и только там улавливаем некоторую подлинную интимность и в ней полноту бытия... В непосредственном единении уразумения мы открываем подлинное единство смысла и конкретную целостность проявившегося в знаке как в предмете... Основная наука должна быть полной и конкретной по выполнению ее и разумной по своему пути... Она должна указывать всякому знанию его собственные начала. Более того, она должна вскрыть единый смысл и единую интимную идею за всем многообразием проявлений и порывов творческого духа... Это — задача основной философской науки и только ее, и это есть задача нашего времени, и, добавлю личное мнение, лучшего из когда-либо бывших!... И невольно возникает вопрос: не в праве ли мы повторить слова лучшего представителя другого счастливого времени: «Науки процветают, искусства развиваются, весело жить!»? Нет? Падают теории, сокрушаются мировоззрения, рушатся догматы и колеблются престолы и алтари... а все-таки весело жить!

Безнадежное время... изжито, материалистическая эра, когда в философии воцарились «пищие духом», завершена... Период сомнений, декаданса, болезненного бессилия, апатии и квиетизма за нами... Дух нашего времени ради себя самого сводит нас здесь»*.

Речь эта была произнесена в роковом 1914 году за полгода до начала первой мировой войны.

В 1915 году Шпет публикует монографию «Философское наследство П. Д. Юркевича (к сорокалетию со дня смерти)», где он раскрывает всю глубину и оригинальность взглядов этого философа, уже полузабытого к тому времени и по сию пору весьма мало известного.

Этой монографией Шпет открывает серию исследований по истории русской философии. В 1921 году он выпускает книгу «Философское мировоззрение Герцена»**, в 1922 году — обширную статью «Антропологизм Лаврова»*** и, наконец, в том же году — «Очерк развития русской философии. Часть 1»****. В этой послед-

* Шпет Г. Г. Явление и смысл. — М., 1914. — С. 7—8.

** Шпет Г. Философское мировоззрение Герцена. — Пг.: «Колос», 1921.

*** Шпет Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии // П. Л. Лавров: Сборник: Статьи. Воспоминания. Материалы. — Пг., 1922. — С. 73—138. См. также: Шпет Г. Философия Лаврова; Лавров — Герцен. Вперед! // Сб. статей, посвященных памяти П. Л. Лаврова. — М., 1920. — С. 24—28, 35—39.

**** Шпет Г. Очерк развития русской философии. Ч. 1. — Пг., 1922. См. также: Шпет Г. Сочинения. — М., 1990.

ней книге Шпет начинает историю русской мысли аb ovo с Паисия Лигарида и братьев Лихудов и со Славяно-Греко-Российской Академии. К сожалению, первая часть заканчивается началом XIX века, то есть тогда, когда философия наша только что вышла из «детской комнаты». Следующие части никогда не были дописаны, хотя в рукописях Шпета сохранились — в разной степени завершенности — куски второй и третьей частей. Среди прочего и полностью законченная глава о гегельянстве у Белинского.

В 1916 году Шпет печатает и защищает уже упоминавшуюся диссертацию «История как проблема логики» и важную обширную статью «Сознание и его собственник», которую мы выше цитировали.

Тем временем растет его семья. В 1914 году родилась дочь Татьяна, в 1916 году — вторая в новом браке дочь Марина и в 1919 году — сын Сергей (1919—1972). Начинается разруха и связанные с ней организационные и бытовые трудности. Но Шпет не опускает руки и не теряет инициативы. Он затевает философский ежегодник под названием «Мысль и слово», который сам редактирует и для которого сам подбирает материал. Первый том, на плохой бумаге, с распадающейся брошюровкой, выходит в 1917 году. Шпет публикует в этом томе обширную статью «Мудрость или Разум», посвященную горячей защите Разума, то есть рациональной философии, и направленную против сонной, неопределенной, «восточной» Мудрости, а также несколько разборов и рецензий. Второй том, в еще худшем издательском исполнении, выходит в 1919 году, но на этом издание прекращается. Во втором томе Шпет публикует еще одну важную статью «Скептик и его душа», где он обсуждает тупики, в которые заводит мысль отрицательная в конечном выводе, «скептическая» философия.

В холодном и голодном 1918 году Шпет заканчивает еще одно свое важнейшее сочинение «Герменевтика и ее проблемы»*, до сей поры еще полностью не опубликованное. Работа эта непосредственно связана с его исследованиями по методологии истории и подготавливает дальнейшие его изыскания, в частности, вошедшие в «Эстетические фрагменты» (1922—1923) и «Внутреннюю форму слова» (1927). Шпет полагал, что философия истолкования, последовательное философское прояснение вопросов о смысле и значении, должна занять центральное место в развитии наук о слове в самом широком и точном смысле, в лингвистике, истории, филологии, истории литературы.

Подобно большей части русских интеллигентных людей, Шпет ничего не имел против революции. Воспитание, традиция многих поколений интеллигенции, собственные наблюдения бездарной неспособности правительства — все подводило его к сознанию мо-

* Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст, 1989. — М., 1989. — С. 231—268; Контекст, 1990. — М., 1990. — С. 219—259. — Публикация А. А. Митюшина.

ральной оправданности и, может быть, даже необходимости революции. Вспомним, что он говорил в своей речи еще в 1914 году: «Падают теории, сокрушаются мировоззрения, рушатся догматы и колеблются престолы и алтари... а все-таки весело жить!». Это же блоковский призыв «всем сердцем слушать музыку революции!» Но чего он не прощал революции (и опять, как Блок в статье «О назначении поэта»), так это ее вмешательства manu militari в жизнь идей, разрушения всего процесса культурной жизни в России — дела, к которому он считал себя призванным и в котором без малейших оснований, по его убеждению, ему чинили препоны.

Как только с введением нэпа появились первые частные издательства, Шпет издает в петроградском издательстве «Колос» три свои книжки (Философское мировоззрение Герцена, 1921; Антропологизм Лаврова, 1922; Очерк развития русской философии, 1922). В последней он с горечью отмечает, что второй раз в истории России преподавание философии в университетах запрещено.

В эти годы труднее всего пришлось людям сорокалетним. Те, кто был старше, могли, столкнувшись с непреодолимыми препятствиями в своей работе, уйти в тень, выйти на пенсию, отказаться от активного участия в жизни. Те, кто был моложе, могли попытаться приспособиться, не теряя лица, уйти в какую-нибудь совсем нейтральную деятельность (библиотечную, издательскую, архивную), тоже заранее отказавшись от активной роли в новой жизни. Те же, кто уже определился, уже сформировался, за кем стояли ученики, книги, начинания, были лишены такого выхода.

Шпет, отстраненный в 1921 году от преподавания в университете, еще пытается сохранить с ним связь. Он организует при университете «Этнографический кабинет» и собирает там своих учеников. Понимая шаткость и неустойчивость нэповской толерантности, он поспешно издает в том же «Колосе» в 1922 и 1923 годах три выпуска «Эстетических фрагментов»*. Эти действительно фрагментарно написанные книжки отличаются от всего им опубликованного. Такое впечатление, что он торопится высказать обдуманное и решенное, пока это еще возможно, пока «не заткнули рот».

Здесь намечается третий цикл философских исследований Шпета после «чистой философии» и «истории философии». Философия знака, отношение между знаком и обозначаемым, лежит изначально в центре философских штудий и интуиций Шпета. Теперь он придает этим штудиям видимость прикладных исследований. Он пишет статьи «Проблемы современной эстетики»** (1923). «К вопросу о постановке научной работы в области искусствovedения»*** (1927), «Введение в этническую психологию» (1927). Наконец, в 1927 году он публикует глубочайшее философское исследование о

* Шпет Г. Эстетические фрагменты. Вып. I—III. — Пг.: «Колос», 1922—1923. См. также: Шпет Г. Сочинения. — М., 1990. — С. 345—474.

** Шпет Г. Проблемы современной эстетики // Искусство. 1923. № 1.

*** Шпет Г. К вопросу о постановке научной работы в области искусствovedения // Бюллетень ГАХН. 1926. № 4—5. — М., 1927.

природе языка «Внутренняя форма слова»*. Эта книга предвосхитила развитие взглядов на язык на много лет вперед. Только через 30—40 лет языковеды приходят к усвоению этих идей.

В 1919—1920 годах в Москве существовал лингвистический кружок, в котором участвовали Р. Якобсон, Г. Винокур, Р. Шор, Б. Ярхо. Шпет принимал участие в работе кружка. Вскоре Якобсон уехал в Прагу, и то новое учение о языке, которому он отдал свою жизнь, обычно связывают с деятельностью Пражского лингвистического кружка. Но Якобсон, Винокур и Шор считали своим учителем Шпета. В своих поздних автобиографических заметках Якобсон вспоминал, что именно философия языка Г. Г. Шпета, с которой он познакомился в московском кружке, сформировала его взгляды на языкознание. Это были, очевидно, те самые идеи, которые изложены в «Эстетических фрагментах» и «Внутренней форме слова».

Тем временем кажется, что с нэпом и вся жизнь понемногу возвращается в нормальное русло. Однако к преподаванию в университете Шпета по-прежнему не допускают. Но в 1923 году организуется Российская Академия художественных наук, где Шпет возглавляет философское отделение. К 1927 году она преобразуется в Государственную Академию художественных наук, и Шпет в качестве вице-президента становится ее руководителем. К работе в Академии он привлекает большую группу своих учеников и единомышленников: Н. И. Жинкина, Н. Н. Волкова, А. С. Ахманова, О. Б. Румера, Б. В. Шапошникова, А. А. Губера, А. Г. Габричевского, М. А. Петровского, П. С. Попова, Б. И. Ярхо, С. В. Шервинского, братьев Б. В. и Л. В. Горнунгов.

Создавалось впечатление, что и жизнь, и работа снова налаживаются. Правда, в 1928 году произошло одно событие, которое показало, насколько положение Шпета непрочное. В Академии наук были объявлены выборы, и академик Д. М. Петрушевский предложил кандидатуру Шпета на кафедру философии. Это был тяжелый для Академии наук год. Менялся ее устав, упразднили должность постоянного секретаря, тем самым устранив С. Ф. Ольденбурга. Выборы отменялись и назначались сызнова — словом, это уже был «год великого перелома». И то ли сами академики испугались выбирать на кафедру философии Шпета, то ли им указали «сверху», но на эту кафедру был избран известный математик Н. Н. Лузин, человек не без философских интересов и склонностей.

Но окончательно все рухнуло в 1929 году. В ГАХН утром пришли трое мрачных людей и объявили себя «комиссией по чистке». «Где у вас партком?» — спросили они. «У нас нет парткома». «А где местком?» «У нас нет месткома». «Что за странное учреждение», — сказали они. «А кто у вас главный? Скажите, чтобы завтра собрались все сотрудники. Мы будем проводить чистку».

* Шпет Г. Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы Гумбольдта). — М., 1927.

Не знаю, что в это время делал президент Академии, но отвечать за всех взялся Шпет. Он категорически приказал никому пока на «чистку» не ходить. На следующий день он закрылся с комиссией в своем кабинете и просидел с ними три часа. После окончания разговора он собрал своих сотрудников и объявил им: «После всего, что я им сказал, Академию закроют, и вам никому не поздоровится. Уходите из Академии сейчас же сами и лучше — в разные места». Так закончилось короткое существование Государственной Академии художественных наук.

7. Metanola (наедине с собой)

Надо было продолжать жить и зарабатывать деньги для семьи. На работу в своей области Шпет уже рассчитывать не мог. Поэтому он, подобно многим полуопальным людям того времени, занялся переводами. Именно в это время окончательно оформляется одно из очень немногих культурных начинаний того времени — издательство «Academia». Вокруг него собрались уцелевшие русские интеллигенты. Возглавлял его — опять по той же «номенклатурной» причине — уже опальный, но еще важный Лев Каменев. Даже по тому, что «Academia» за многие годы успела выпустить, видно, что это издательство было редким явлением в нашей жизни. А если посмотреть его перспективный план, то становится очевидным, что оно могло бы перерасти в издательство европейского масштаба.

К этому издательству и прибился Шпет. Первое, за что он взялся, был перевод «Записок Пиквикского клуба» Диккенса. Увлечшись этой работой, Шпет предложил написать бытовой и исторический комментарий к «Запискам»*, который под его руками превратился в подробнейшее описание нравов Англии XIX века. Он разыскивал расписания почтовых карет и меню дорожных таверн. Объяснял особенности английских законов и исторические корни байлифов и коронеров. Приводил цены, жалованья слуг различных категорий и т. д. Он потратил много сил и написал целый отдельный том для этого издания «Записок».

Том был принят к публикации по мизерным расценкам как научное комментирование, а хорошо оплачиваемый перевод забраковали и вместо него приняли перевод Ланна, начинавшего в ту пору свою карьеру переводчика Диккенса. Шпет был очень огорчен проделанной зря работой, но не опустил руки. Он взялся за перевод драматических произведений Байрона и в короткий срок перевел «Каина», «Манфреда», другие мистерии**.

* Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба. Т. 1—3. — М.—Л., 1933—1934. — Т. 3: Комментарий к «Посмертным запискам Пиквикского клуба» / Сост. Г. Г. Шпет. — 368 с.

** Байрон Д. Г. Мистерии/Пер. с англ. размерами подлинника и прим. Г. Г. Шпета. Вступ. статья и коммент. П. С. Когана. — М.—Л.: Academia, 1933.

Упомянем также его перевод книги Ч. Диккенса «Тяжелые времена» (М.—Л.: Academia, 1935) — эта книга вышла без имени переводчика — и комментария к «Ярмарке тщеславия» У. Теккерея (М.—Л.: Academia, 1933—1934).

Он вошел в рабочую группу по подготовке комментированного научного издания Шекспира на русском языке и все эти годы работал не покладая рук и по обычным человеческим меркам очень продуктивно. Но сам он был недоволен собой. Вместе с внешним отлучением от активной работы в области философии в нем происходили и внутренние изменения. Шпет еще раз обдумывал и оценивал себя и приходил к горьким выводам. Он писал: «Философское мировоззрение есть сам дух личности человеческой, дух, который живет в человеке и которым человек живет... Это стержень самой души и биографии. Дух не направляется событиями, а сам направляет душу, жизнь, биографию... Человек меняет мировоззрение, ибо дух — живой, действующий дух. Но в самой этой перемене может быть открыта своя внутренняя строгость и своя духовная дисциплина, возможная только потому, что направляющий ее дух есть движитель, который сам не движется»*.

Трудный период переживал Шпет в конце двадцатых — начале тридцатых годов. Когда читаешь его записную книжку тех лет, то короткие и страшные записи потрясают. Ему было всего пятьдесят с небольшим, но здоровье уже подорвано. Трудно становилось заставлять себя работать так, как он привык. Он страдал от болезни желудка, от головной боли, от нервного и физического переутомления, да и от недоедания тоже в эти трудные, голодные годы. Он подозревал у себя умственное расстройство, штудировал книги по душевным заболеваниям, обращался к психиатрам.

А внешняя жизнь продолжалась в привычном темпе. Друзья собирались регулярно. Пили, играли в карты до утра. В это время Шпет записывал (1931 год):

«19/1. Очень плохое самочувствие, не работается, спится, «разложение».

21/1. Вчера — скучно; опять страхи. Не мог заснуть до 9 утра. И встал сегодня во 2-м часу с головной болью... Совсем отказался от своих занятий по теории рядов. А там много незавершенного. Надо бы хоть привести в порядок то, что сделал. Должно быть опять боюсь увлечься и отвлечься от обязательной работы (переводов). Иногда практически меня занимает такой один вопрос: эта моя усталость и руинность — временное явление или я так дотяну до... пули в лоб? Ну, ну, затаскала меня жизнь! Где я, что осталось от меня? Сейчас со всей ясностью представился вечер в Геттингене...

Встать и перейти в соседнюю комнату! Или по снегу прогуляться в город!.. Жутко гибнуть так бесславно.

24/1. Боюсь, что запутываюсь: думать трудно. Я чувствую, как атрофируются у меня мозговые мускулы!!

27/1. Vleuler более всего нападает на расстройство способности суждения от алкоголя — примат аффекта. Не отрицаю, но хуже, что расстраивается та подсознательная, сублиминальная (или супер!) сфера, в которую включается способность цельного ответа непосредственно. И значит — разум. Это мне совсем не нравится.

* Шпет Г. Г. Философское мировоззрение Герцена. — Пг., 1921. — С. 3.

3/2. Спал невероятное количество часов. Физически — вроде как лучше, но угнетение — по-прежнему, мысли не уходят о конце, о ненужности, о невозможности работать. И объективно: нельзя работать оторванным от других (в лучшем случае получается Морозов со своим Апокалипсисом*), но из многих последователей одни меня боятся, другие мне не верят, большинство меня не знает. Думаю написать Бухарину, предложить свои услуги (gratis) по работе в комиссии истории науки.

10/4. Перевожу, перевожу, перевожу! 5-го злоупотребил; казалось, и не чрезмерно, но вышло дорого. 6-го опохмелялся, 7-го — день рождения (все же не слишком), 8-го опохмелялся, вчера утром — сильно, к вечеру — гнусно, сегодня — неважно. Дорого, дорого!»

Вот часть этих записей. Но совсем не следует их понимать как развал и крушение личности. В одной из низших точек, когда работа его не удовлетворяет, а другой нет, когда надо вести и вести эти иссушающие душу переводы, когда он отовсюду изгнан, везде подвергается преследованию, — именно тут Шпет приходит к решительному и трагическому пересмотру всей своей жизни.

Вот запись от 29 января 1931 года, свидетельствующая об этом: «Роковым последствием моего юношеского материалистического аскетизма было подавление не тех стремлений, которые следовало подавлять. От подавления эстетического сравнительно рано освободился, но считаю, что все же вышел не полным победителем, ущерб есть. Хуже, много хуже подавление того, что называют «добротой». Идея была: все разумно делать, и не обнаруживать сердечности. На деле разумно (слава богу!) не было, а в порядке доброты — не обнаружение, а ее самое усушил. И долго еще носился с доктринерским убеждением, что добрые не бывают умными, и как детскость суждения может сохраниться у взрослого — или только худшие черты детскости?»

Вся жизнь моя была бы иной, если бы не подавление доброты! И даже моя общественная отъединенность теперь не существовала бы. Поведение должно определяться непосредственно добротой и мотивами сердца, а у меня сплошь и рядом не разумность, как воображалось когда-то, а упрямство, раздражение («а все-таки, ну, так я же стою на своем!»).

И через полтора месяца, 16 марта, еще одна короткая запись: «Да, сердце, сердце, сердце — самое важное в жизни, единственное! — как исказил я себя».

Напомним, что сердце — центральный пункт философии Юркевича. Шпету было в это время 52 года. Он мог рассчитывать еще лет на двадцать, в течение которых успели бы проявиться в его жизни, в его трудах такие глубокие душевные перемены. Но остав-

* Н. А. Морозов — так называемый «шлиссельбуржец», просидевший в крепости двадцать три года (1862—1905) и написавший свое толкование Апокалипсиса (Откровение в грозе и буре: История возникновения Апокалипсиса. — СПб., 1907), а также другие сочинения.

шиеся короткие три года его свободной жизни были заняты главным образом переводами.

Философская позиция Шпета может быть определена как рационализм, ищущий уразумения действительности в ее конкретной данности и полноте. Основания для такой «положительной» философии, которую он противопоставлял, в частности, кантианству в любых формах, он нашел в феноменологии Гуссерля. Но в постановке вопросов и выборе тем геттингенский гуссерлианец Шпет был русским философом, ближе всех, пожалуй, стоящим в этом ряду к Юркевичу.

Излагая феноменологию Гуссерля в «Явлении и смысле», Шпет отмечает, что социальное бытие, как отдельный род эмпирического бытия, пропущен Гуссерлем в его классификации. Шпет вводит социальное бытие в систему феноменологического анализа и отмечает принципиальный характер этого восполнения: «Именно исследование вопроса о природе социального бытия приводит к признанию игнорируемого до сих пор фактора, который только и делает познание тем, что оно *есть*, показывает как оно есть»*.

С этой позиции все его философские труды, в которых он последовательно анализирует историю, этническую психологию, искусствоведение, историю литературы, язык, объединяются общей задачей исследования разных форм социального бытия. Его основные философские темы и достижения связаны с уяснением проблем знака и изображаемого, явления и смысла, мысли и слова, с уяснением проблем личности, общества, истории и языка.

Наиболее законченная и обширная из опубликованных работ Шпета — «Внутренняя форма слова». Это не просто изложение взглядов Гумбольдта и даже не частная «прикладная» тема о философии языка. В этой работе заложена основа для развития целого направления философии — общего знания; в ней решается конкретно и точно основная проблема философии со времен Платона — проблема соотношения между вещью и идеей, между символом и смыслом. В этом конкретном материале вопрос звучит так: как смысл (духовное) может быть сопряжен со звуком (материальным)? И решение, предлагаемое Гумбольдтом и выясняемое в этой книге Шпетом, таково: в слове они соединены нераздельно и неслиянно.

Так как этот вопрос обсуждается и разрешается в очень общем виде, то ответ пригоден не только для науки о языке. Это — рационализация халкидонского тезиса, которая ложится в основу социальной антропологии Шпета, его учения о личности. После замены предикатов, допускаемой благодаря общности рассуждения, формула «Слово есть полный распустившийся цветок языка» в антропологическом изложении будет звучать как «Человек (личность) есть полный Адам» (а не «кирпичик», из которого общество строится).

* Шпет Г. Г. Явление и смысл. — М., 1914. — С. 129.

8. Конец

14 марта 1935 года ближе к ночи (как это у них полагалось) люди из НКВД пришли арестовать Шпета. Обыск продолжался до утра. Одновременно было арестовано и несколько его друзей*.

Летом следствие закончилось. Приговор по статье 58 был сравнительно мягким: пять лет ссылки в Енисейск, захолустный городок центральной Сибири. Родным позволили его сопровождать в ссылку. Наталья Константиновна и сын Сергей поехали с ним в Сибирь. В Енисейске удалось устроиться в частном доме, в хорошей, теплой комнате. Приходя в себя после следствия, Шпет начал работать и был даже доволен таким оборотом дел. Было решено, что при нем всегда кто-нибудь будет: Наталья Константиновна, кто-нибудь из дочерей или ближайших друзей. Но у Натальи Константиновны в Москве оставался дом, шестнадцатилетний Сергей, и, кроме того, она все еще надеялась, что «хлопоты» могут что-то изменить. Поэтому она уезжала в Москву, оставляя Г. Г. со сменяющимися друг друга Норой, Маргаритой, Мариной. Она очень надеялась на то, что ей удастся добиться перевода Шпета в Томск — университетский город с библиотекой, где ему будет легче жить и работать. Сам Г. Г., кажется, не очень этого хотел.

Хлопоты Натальи Константиновны увенчались успехом, и зимой 1935/36 года они переехали в Томск (в санях и дохе по замерзшему Енисею). В Томске тоже сносно устроились, и по уже введенному порядку с Г. Г. все время жил кто-нибудь из родных. Шпет продолжал начатые ранее работы, переводил «Феноменологию духа» Гегеля.

В начале октября 1937 года Наталья Константиновна должна была вернуться в Москву. На неделю или две Г. Г. остался один, ожидая приезда Норы. А 27 октября он был арестован. В Москву пошла условная телеграмма от его хозяйки: «Пришлите шапку». Приговор тройки НКВД был стандартным для тех лет: «десять лет без права переписки». Теперь мы знаем, что на деле это означало приговор к расстрелу, который приводился в исполнение в течение суток со дня вынесения**. Так Густав Густавович «дотянул», но только не до пули в лоб, а до пули в затылок.

Наталья Константиновна хотела верить букве приговора и еще много лет подавала прошения о пересмотре дела, получая стандартные отписки, что оснований для этого не найдено.

Она дожила до 1956 года и получила справку о реабилитации Г. Г. Шпета «ввиду недоказанности преступления» и подложное свидетельство о его смерти в 1940 году «от воспаления легких».

* М. А. Петровский, А. Г. Габричевский, Б. И. Ярхо.

** На самом деле, как стало теперь известно, он был расстрелян в Томске 16 ноября 1937 г.

9. Post Scriptum

В семье существовала традиция: 7 апреля, в день рождения Г. Г., у старшей дочери Лены собирались ученики и друзья Шпета, вспоминали о нем, рассказывали о его мыслях, встречах с ним, об отдельных эпизодах жизни. Много лет назад, во время одной из таких встреч, я понял, что мне нужно собрать и записать все, что можно, о жизни Шпета. Задача оказалась довольно трудной. Я читал сочинения Шпета, расспрашивал родных и друзей, обдумывал и, наконец, в январе 1989 года, оказавшись один в глухом европейском углу, написал этот очерк.

Меня пригласили в Томск на открытие памятной доски Г. Г. Шпету, которое состоялось 16 ноября 1989 года. Я приехал туда с дочерью Густава Густавовича Мариной Густавовной заранее и пошел в Томское управление КГБ с просьбой разрешить мне познакомиться с делом Г. Г. Шпета. На следующий день в специальной комнате и в присутствии офицера КГБ я в течение четырех часов читал «Дело № 12301 по обвинению Шпета Г. Г. по ст. 58—2, 10, 11; начато 27 октября 1937 г.; окончено 2 ноября 1937 г. Томским НКВД». Я мог делать любые выписки, и поэтому многие части переписал дословно.

Дело производит впечатление документальной подлинности — все подшитые в нем документы пронумерованы без подчисток единой, не прерывающейся нумерацией.

Философское наследие Шпета долго находилось в тени. Насколько я знаю, только двое его современников — Андрей Белый и Федор Степун — написали о Шпете в своих воспоминаниях*. Но причины такого невнимания к его творчеству были не только политические. Мне известны две краткие заметки о философии Шпета в справочных изданиях. Одна — это статья В. Ф. Асмуса в московской «Философской энциклопедии» (1970). Другая принадлежит однокашнику Шпета протоиерею Василию Зеньковскому, который пишет о нем в «Истории русской философии» (Париж: YMCA, 1950). Они удивительно похожи и сводятся к тому, что этот философ оказался сильнее в анализе и критике, чем в оригинальном творчестве.

В заключение я хочу привести еще одну цитату из «Философского наследия Юркевича». Говоря о критике, которой подвергался Юркевич, Шпет пишет: «На стороне Юркевича было знание, тонкое понимание, самостоятельная мысль, и боролся он за Истину не преходящую, а стоящую над временем. Если всего этого не было у его противников, то неужели признать, что победили невежество, непонимание, интересы момента»? Затем Шпет задает второй воп-

* *Белый А.* Между двух революций. — Л., 1934; *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. — Нью-Йорк: Изд-во Чехова, 1956.

рос: «Достаточно ли Юркевич понимал желания и нужды своего времени, тот момент, в который ему пришлось жить и учить»? Да, отвечает он, «Юркевич знал, понимал и отдавал должное своему времени, но он был философом, а потому видел еще дальше...»*.

* Шпет Г. Г. Философское наследство П. Д. Юркевича. — М., 1915. — С. 2.

ШПЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В МЕЛИТОПОЛЕ

3—5 сентября 1992 г. в Мелитополе будет проходить конференция, посвященная исследованию наследия Г. Шпета и его влиянию на становление отечественной эстетической и философской мысли. Цель конференции — изучение развития феноменологических традиций в оригинальных философских концепциях Г. Шпета, А. Лосева, М. Бахтина.

Будут работать следующие секции:

- развитие феноменологических идей в современной отечественной философии;
- феноменология и герменевтика;
- феноменологическая эстетика.

Конференция организуется кафедрой философии Мелитопольского государственного педагогического института и Отделом философских проблем культуры Института философии АН Украины.

Тезисы принимаются до 1 мая 1992 г. Объем тезисов — 2 страницы (в 2 экз.).

Адрес: 332339, Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Ленина, 20. Педагогический институт, кафедра философии.

Телефон: 4-27-83.

В ПОИСКАХ ТОЧНОГО СМЫСЛА

(Предисловие к публикации)

Архивные материалы Г. Г. Шпета включают значительное число неопубликованных, неисследованных, да и просто неизвестных работ, имеющих завершённый характер, не говоря уже о черновиках, незаконченных рукописях, подготовительных материалах, заметках и т. д.

Мы остановили свой выбор на работе Г. Г. Шпета, не имеющей начала и конца, собственного названия и точной даты написания*, представляющей собой малоразборчивый текст с бесчисленными трудночитаемыми сокращениями. Теперь, когда эта работа расшифрована и предлагается вниманию читателей, есть смысл остановиться на ее значении.

В этой небольшой рукописи мы находим лаконичное, логически стройное и последовательное изложение системы философских взглядов Г. Г. Шпета, относящееся, по-видимому, к 1914—1915 гг. Знакомство с рукописью убеждает в том, что сроки ее написания определены составителями архива достаточно точно, и это придает работе особую историческую ценность, ибо мы можем рассматривать ее как одно из наиболее ранних систематических изложений философских воззрений Шпета. К числу первых опубликованных работ философа, содержащих подробное и последовательное описание собственной философской системы, необходимо отнести прежде всего книгу «История как проблема логики. Ч. I. Материалы» (Введение, 1916)**, а также известную статью «Мудрость или разум?», помещенную в вышедшем под редакцией Г. Г. Шпета философском ежегоднике «Мысль и слово» (1917)***.

Если ранние работы философа содержат углубление тем, вопросов и проблем, стоящих в центре философских и вообще научных интересов начала века, то с 1913—1914 гг. для него уже ясно определились собственные пути исследования и философствования. Подтверждением тому служит публикация книги «Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы» (1914), в которой Г. Г. Шпет не только дает очерк феноменологии Э. Гуссерля, но и излагает наиболее общие положения своей философской концепции. Вопрос о необходимости точного уяснения собственного метода определился для Г. Г. Шпета, очевидно, уже в период путешествия в Германию (1911—1912 гг.), его знакомства и встреч с Э. Гуссерлем. Этот важный опыт общения с великим философом вызвал необходимость определить свое «да» или «нет» по отношению к феноменологии, уяснить смысл и сущность направления, претендующего на роль основной философской науки. Изложив в книге «Явление и смысл» собственную оригинальную интерпретацию феноменологии Гуссерля, Г. Г. Шпет открыл неизвестную главу в общем восприятии нового философского направления в России. Он раскрывает роль феноменологии и ее задачи как фундаментальной философской науки и при этом связывает ее с традицией положительной философии, восходящей к платоновскому рационализму и отличающейся интересом

* Название рукописи «Работа по философии» — условное; на титульном листе — примечания составителей архива: «Без начала и конца», 1914—1915 гг. (?). Думается, более точным было бы указать: «Без названия и конца».

** Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследования. Ч. I. Материалы. — М., 1916. Введение данной книги, как и рукопись, состоит из пронумерованных разделов, имеющих аналогичную структуру частей, что дает основание предполагать, что рукопись могла быть одним из набросков названного Введения.

*** Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Мысль и слово: Философский ежегодник. — М., 1917.

к бытию в его конкретной полноте и поиску оснований всего сущего. Отрицательная же философия, наиболее ярким представителем которой для Г. Г. Шпета был Кант, пытаясь преодолеть метафизику в философии посредством обращения к изучению самого познающего сознания, неизбежно приводит к субъективизму и агностицизму. И если отрицательная философия, разрушая традицию единства и преемственности, всякий раз начинает заново, с отрицания прошлого, то положительная философия, восходящая к Платону, всегда идет в одном направлении, одушевленная одной целью. В основе ее лежит одна из самых древних примет философии — своеобразие метода, существенно диалектический характер, где диалектика, по определению Сократа, есть совместное мышление, вечное «да» и «нет», диалог в самом подлинном и полном значении, в основе которого, считает Шпет, лежит «первичный факт»: «слиянное общение через сообщение, которое и есть условие понимания». Такое понимание, неискоренимым условием которого является общение, слиянное единство Я и Другого, возможно, по Шпету, лишь в том случае, если мы исходим из факта принадлежности человека познающего к человечеству и культуре. Субъект познания — не абстрактный, отвлеченный внешний наблюдатель, он рассматривается философом как социокультурный феномен, взятый в контексте культуры; для него действительность, подлежащая уразумению и пониманию, не есть нечто сейчас и здесь данное, но есть историческая реальность как реализация, как результат и процесс всего прошлого становления и развития, устремленного в будущее, как звено в цепи культурно-социальных свершений. Социальный человек не просто отражает и усваивает эту реальность, но творит ее, усматривая разум (ratio) в самой действительности и сохраняя через реализацию идеального общности культурного бытия. Особенность философской позиции Г. Г. Шпета, определившаяся в первых его работах, выражается в том, что уже в 1913—1914 гг. у него четко обозначились «как совокупность проблем, которым придается особенно важное значение и которые ставятся в центр интересов данной философии, так и способы решения этих проблем»**.

Определяя первую проблему положительной философии как проблему действительности подлинной, «действительности нашей жизни во всей ее полноте»***, Г. Г. Шпет в книге «Явление и смысл» формулирует главный вопрос, на который он ищет ответ: «...как есть действительность вообще, как оно есть в интуиции и как — в понятии, — так как ближайший анализ открыл, что простого факта, что у нас есть интуиция и понятия (или интуиции, подведенные под понятия), явно недостаточно, — это мертвые термины, засушенные растения, гербарий, а не „жизнь“»****. И дальше: «Как становится логическое понятие орудием жизни, а не уничтожения ее?»*****. И если Гуссерля интересуют раскрытие и описание трансцендентальных условий опыта сознания, то для Г. Г. Шпета переход к действительности — устремление к конкретности — составляет основное направление его поисков. В работе «Философское наследие П. Д. Юркевича» (1915) Г. Г. Шпет формулирует проблему как вопрос «о роли общих понятий и источниках того убеждения, по которому в них действительно выражается «то же», запечатлевающее в них самое предметную истину», или «уже и определеннее: каким образом общее понятие, будучи понятием отвлеченным, может служить принципом предметного философского, т. е. конкретного, ведения?»*****. Поиску ответа на этот вопрос посвящены, в конечном счете, все философские работы Г. Г. Шпета, наибольшей глубиной из которых отличается, на наш взгляд, книга «Внутренняя форма слова» (1927).

Для Г. Г. Шпета действительность всегда разумна и исторична, ибо «в действительности разумна только та возможность, которая осуществилась и стала

* Шпет Г. Г. Искусство как вид знания: Рукопись. — ОР ГБЛ, ф. 718, к. 7, ед. хр. 4, л. 16.

** Шпет Г. Г. История как проблема логики... — М., 1916. — С. 8—9.

*** Там же. — С. 13.

**** Шпет Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. — М., 1914. — С. 70.

***** Там же. — С. 122.

***** Шпет Г. Г. Философское наследие П. Д. Юркевича. — М., 1915. — С. 39

действительностью, ибо сама действительность есть разум того из возможных смыслов, который осуществлен. Осуществленная же действительность в самой себе заключает свой разум, как свое *ratio*, т. е. то, из чего уразумевается, почему она именно такая, а не иная. Это последнее уразумение и связывает непосредственно единым действительным смыслом понятие и предмет его. Диалектика возможностей, герр. возможных смыслов, есть непрерывный и систематический путь к восполнению неполноты каждого понятия, и этот процесс также бесконечен, как бесконечна в своей полноте действительность*. В итоге Г. Г. Шпет приходит к выводу, что если, согласно Гуссерлю, «мы с помощью рефлексии и метода редукции действительно можем прийти к философскому анализу и критике сознания, исходя из непосредственного опыта, то мы должны брать этот опыт в его конкретной полноте культурно-социального опыта, а не в его абстрактной форме восприятия "вещи"»**. Элементом форм культурно-социального сознания при этом выступает слово-понятие, первично данное в усвоении знака социального общения. А потому философия как основная наука имеет своей задачей истолкование действительности, которая, в интерпретации Г. Г. Шпета, существенно дана человеку в качестве знака, выражения, слова и как таковая не имеет значения сама по себе, но лишь постольку, поскольку всегда необходимо обладает смыслом в контексте истории и культуры, смыслом, фиксируемым в формах единого культурного сознания, имеющих в языке архетип и начало. Разум, заключенный в действительности, открывается человеку благодаря его способности умождения и уразумения, понимания. В книге «Герменевтика и ее проблемы» (1918) Г. Г. Шпет пишет: «Мы идем от чувственной действительности, как загадки, к идеальной основе ее, чтобы разрешить эту загадку через осмысление действительности, через усмотрение разума в самой действительности, реализованного и воплощенного. Если понимание есть путь постижения духа, то одинаково на одном уровне философии становятся вопросы реальности «внешнего мира», реальности «чужой личности» и реальности «меня самого». В конечном итоге — и, следовательно, для исследования с самого начала — это одна проблема: проблема духовной исторической реальности. Историческая реальность, как сказано, есть осуществленное, но в то же время и осуществляющееся и еще подлежащее осуществлению. Словом, это есть непрерывное движение, но движение не механическое, а движение творческое: осуществления, воплощения, реализации идей***. Назвав понимание центральной проблемой своей философии, Г. Г. Шпет определяет его как непосредственное усмотрение смысла, улавливаемого нами в живом понятии и выступающего как конкретное единство текущего смысла. Это течение смысла оформляется (термин Г. Г. Шпета) в соответствии с внутренними формами слова и открывает возможность особой диалектической интерпретации выраженной в слове реальности. Через понятия как знаки улавливается все, что обозначают эти знаки. Таким образом, само понятие — динамично, оно — живой орган, понимаемое, оно живет и движется. «Любая словесная единица, — подчеркивает философ, — понимается только в связи с другими и с большим целым; это целое понимается опять в новом целом, которого оно — часть: слово, предложение, период, разговор, книга, вся речь — здесь нет остановок для без конца углубляющегося понимания. В каждом понятии, таким образом, — все связи и отношения того, что есть»****. Диалектика понятия рассматривается Г. Г. Шпетом как реальная диалектика, диалектика реализуемого культурного смысла, и определяется им так же, как диалектика герменевтическая. Она открывает возможность особой диалектической интерпретации, истолковывающей слово в его действительном контексте (путем планомерного отбора для сообщения предметного содержания) и определяющей границы смысла, что приводит к уразумению, пониманию как акту совпадения понятия и его предмета, как переходу от знака

* Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на тему Гумбольдта. — М., 1927. — С. 116.

** См. текст статьи «Шпет», подготовленный самим Г. Г. Шпетом для энциклопедического словаря «Гранат».

*** Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы. — ОР ГБЛ, ф. 718, к. 1, ед. хр. 10, л. 218.

**** Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Мысль и слово: Философский ежегодник. — М., 1917. — С. 50.

к смыслу. Следовательно, логический характер понятия, покрывающего собою все сознание, придает особую специфику философскому знанию как знанию в понятиях по преимуществу. Но так как слово-понятие, терминированное слово, требует интерпретации*, то логика с этой точки зрения (как показывает Г. Г. Шпет в целом ряде работ**) обладает существенно герменевтическим характером, а философия становится исторической. В результате своих философских размышлений и поисков в этом направлении Г. Г. Шпет создает оригинальное учение о логике как методологии гуманитарных наук и учение о языке как прототипе и образце всякого культурного и социального явления, значение которых, на наш взгляд, до сих пор остается не оцененным. И это относится к идеям, воплотившимся в книги, увидевшим свет. Что же касается рукописей, то они должны быть прежде всего прочитаны и опубликованы, ибо только при условии активной включенности в живые и развивающиеся связи и отношения в лоне культуры, философии они могут обрести свою историческую реальность.

В рукописи «Работа по философии» содержится характеристика и теоретическое обоснование основных категорий философии Г. Г. Шпета: идеи, умозрения, уразумения, диалектики, диалога, общения, интерпретации, смысла и значения, разума, положительной и отрицательной философии. Знакомство с работой подтверждает ту мысль, что Г. Г. Шпет, в самом начале определив направление и пути философского поиска, неизменно и последовательно разработывал принципы позитивной философии. И хотя в незавершенной рукописи отсутствует именно раздел «Проблемы и принципы положительной философии», мы считаем, что Г. Г. Шпет вполне определенно ставит этот вопрос, характеризуя философию Платона и Канта. В антилизе Платона и Канта он видит величайшее «да» и «нет» из когда-либо высказанных философией, ибо «она касается самих начал во всем их всеобъемлющем смысле». Идея сопоставления философии Платона и Канта и критика кантовского субъективизма красной нитью проходят через все творчество философа. Одно из объяснений такой принципиальной позиции Г. Г. Шпета мы находим в его работе «Философское наследство П. Д. Юркевича». Отмечая современность мыслей П. Д. Юркевича, поразительных по своей законченности, продуманности и подлинной философичности, автор замечает: «Это не удивит нас, если мы примем во внимание, что философской опорой Юркевича был платонизм, а оселком, на котором так тонко отточились его мысли, была Критика Канта. Тот факт, что последнее пятидесятилетие философская мысль тем не менее билась в тисках кантианства, свидетельствует только, что расчет с философией Канта должен был быть делом не только индивидуальным, но общим***. Г. Г. Шпет формулирует задачу: «вскрыть несостоятельность его отрицательной философии в целом, чтобы в ней самой найти все, что может примирить ее с традицией подлинно положительной философии...»****. Критика кантовского субъективизма в «Работе по философии» демонстрирует нам не только приверженность Г. Г. Шпета одной теме, но и своеобразие творческого метода, проявившееся в самом начале его философствования. Уже в 1911 г. в лекциях по логике***** Г. Г. Шпет отмечает: «Философия работает современным методом, когда она подходит ко всякой другой философии со словами «да» или «нет». Другого философского метода быть не может: принимаю нечто или отвергаю»*****. Но отрицание по отношению к уже осуществившемуся, ставше-

* Интерпретацию, истолкование Г. Г. Шпет рассматривает как «раскрытие полноты смысла вплоть до его начал и источников в контексте целого», как проникновение в дух и смысл любой языковой единицы, конструкции (см.: Шпет Г. Г. Что такое методология наук?: Рукопись. — РО ГБЛ, ф. 718, к. 22, ед. хр. 146, л. 2).

** См., например, работы: «Первый опыт логики исторических наук» (1915), «Философия и история» (1916), «История как проблема логики» (1916), «История как предмет логики» (1922) и др.

*** Шпет Г. Г. Философское наследство П. Д. Юркевича. — М., 1915. — С. 35.

**** Там же.

***** Шпет Г. Г. Логика: Записки слушательниц по лекциям, читанным в 1911—1912 гг. на Высших женских курсах. Ч. 1—2. — М., 1912.

***** Шпет Г. Г. Логика... Ч. 2. — М., 1912. — С. 218—219.

му, по Шпету, не является собственно отрицанием как отвержением или уничтожением, оно — лишь преодоление в форме критики, которая в этом случае ведется просто с точки зрения какой-то творческой индивидуальности, каждая из которых рассматривается как звено в диалектической цепи интерпретаций. Такая критика всегда необходимо связана с поиском своего собственного «да» на всякое «нет», и в ней заключено то самое условие понимания, о котором мы уже говорили: «слиянное общение через сообщения». Завершающий момент всякого познания и понимания для Г. Г. Шпета связан с эмпирически-историческим бытием смысла, с конечным объективным моментом прибытия слова из уст и сознания другого в наше сердце и сознание*.

Отвергая столь привычное противопоставление в процессах понимания «разума» и «инстинкта», Г. Г. Шпет последовательно доказывает, что они находятся в «ближайшем родстве», в единстве, реализуемом в способности интеллигибельной интуиции, которая объясняется органическим единством всего живого. Это теоретическое положение определяет гуманистический пафос философии Г. Г. Шпета, ярко выразившийся в его творчестве: «Мы разумны, мы разумеем, мы понимаем, мы сочувствуем, мы подражаем и проч. и проч. — одним словом, мы обладаем интеллигибельной интуицией, потому что мы рождаемся. Мы не только разумны, мы обладаем инстинктами, понимаем и прочее от рождения, но **благодаря** рождению. Чем ближе родственные узы, связывающие нас, тем больше места разумному, тем больше места пониманию. Отсюда освещаются и многие вопросы, затрагиваемые нами при выяснении природы «социального»: не в «одиночных тюремных камерах» заключены мы, не путем условных соглашений достигается социальное единство и не путем механического взаимодействия оторванных друг от друга одиночек движется история, а путем реального органического единства... То же органическое единство рождения, что лежит в основе человеческих социальных отношений, связывает нас и со всем органическим миром, — мы получаем новое указание на то, в каком направлении может идти истинная философия социального и истории»**.

Вряд ли стоит особо говорить о том, что эти замечательные мысли русского философа актуальны и важны для нашего времени. Сегодня есть надежда на то, что каждый думающий человек сможет прикоснуться к сокрытым ранее сокровищам «духовной исторической реальности», наиболее полно осуществляя свое «свободное и неограниченное творчество».

Как мы уже отмечали, рукопись содержит значительное число сокращений, некоторые из которых допускают двойное прочтение, например: «субъективный» или «субъектный» (в тексте отмечено знаком ?).

Орфография, пунктуация и ономастика публикуемого текста по возможности приближены к современным нормам русского языка (например, исправлено написание слов типа «иллюзия», «дилемма», в которых Шпет принципиально не употреблял двойных согласных. Однако в то же время сохранены некоторые особенности авторского стиля, авторское употребление тире, дефиса в словах, имеющих терминологическое значение, устаревшее написание некоторых слов. Курсивом выделено все то, что автором в тексте подчеркнуто.

На первом листе рукописи, помимо плана работы, имеются карандашные черновые пометки, представляющие собой перечень отдельных имен и философских направлений, анализируемых в разделах рукописи. Многие слова написаны неразборчиво, а отдельные — обозначены лишь начальной буквой.

* См.: Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты//Сочинения. — М., 1989. — С. 421.

** «„История как проблема логики” Г. Г. Шпета — возможно, продолжение II части диссертации (примерно 1916 г.)». — ОР ГБЛ, ф. 718, к. 3, ед. хр. 1, л. 247—248.

РАБОТА ПО ФИЛОСОФИИ*

1. Теоретическая философия.
2. Спекуляция и опыт (интуиция идеальная и опытная).
3. Уразумение.
4. Диалектика.
5. Платон и Кант.
6. Резюме к антитезе Платон и Кант.
7. Положительные возможности, заключающиеся в кантовском «нет».
8. Ошибка абсолютного идеализма.
9. Схема дальнейших возможностей.
10. Проблемы и принципы положительной философии.

1. Теоретическая философия

Теоретическая философия есть термин, который требует ближайшего изъяснения прежде всего *как предмет*. Следует различать три значения термина «теоретический».

а) Это есть технический термин, употребляемый в *логике*, где под ним разумеют проверенное, приведенное в систему с помощью гипотезы знание. В этом значении теоретическое противопоставляется: α , фактическому и гипотетическому, β , здравому смыслу, γ , вообще данному через посредство чувственного восприятия. Теория здесь получается в результате объяснения, тогда как с фактическим имеет дело описание (пример: слух как физический факт и его объяснение в теории Гельмгольца).

б) В более широком значении теоретическое противопоставляется *прикладному* и техническому. Это противопоставление имеет место в науках и философии. α , Платон и Аристотель уже различали чисто теоретическое знание и прикладное, мы говорим о теоретических основаниях и технических приложениях (пример: геометрия — геодезия, психология — педагогика); β , Кант дает очень широкое значение этому противопоставлению в философии, по которому теоретические познания выражают не то, что должно быть, а то, что есть, следовательно, имеют в качестве предмета не должествование, а бытие.

в) Новый смысл приобретает теоретическое в его противоположении не только деятельному, но *действительному* вообще. В этом значении теоретическое становится в контрадикторное отношение

* Название условное (дано составителями архива).

также с первыми двумя значениями, поскольку в них по преимуществу речь идет о «теоретическом» знании действительности. Здесь имеется в виду то *чисто* теоретическое знание, которое может быть получено не из действительного опыта, а из рефлексии *по поводу* опыта. Так как последним источником опытного познания действительности является чувственное восприятие, или эмпирическая интуиция (созерцание), то чисто теоретическое знание получается *не* из чувственной интуиции, а из интуиции идеальной, не из чувственного созерцания и зрения, а из умозрения (спекуляции). Как восприятие дает в чувственной интуиции усмотрение действительной вещи, так спекуляция дает в идеальной интуиции, или в идее, усмотрение сущности (пример: стена как зрительный образ формы, цвета и т. д. и усмотрение ее сущности в ее предназначении отделять одну комнату от другой). По определению св. Фомы, спекуляция ведет к чистому рассмотрению истины (*ad solam veritatis considerationem*).

В этом последнем смысле мы и будем иметь дело с теоретической философией.

Философия в ее целом направляется на познание всего в его конкретной полноте и целостности. Этим она решительно отличается от специальных научных знаний, имеющих в виду познание всего, либо в его какой-либо независимой части, либо в отвлеченных формах. Конкретное философское знание, приобретаемое путем умозрения сущностей, складывается в философскую *систему*. В целом это знание также отличается от систематизированного научного знания, потому что последнее не заботится о критическом установлении своих *начал*, а принимает в качестве таковых то или иное данное эмпирической действительности. Забота об установлении самих этих начал выпадает на долю философии, которая таким образом становится знанием начал или принципов (*αρχων*). Такие начала могут составлять *предпосылки* специальных научных знаний, но философия, имея их самих своей задачей, должна избегать догматических предпосылок и условий. Этим в противоположность относительности и условности научного знания она претендует на абсолютность и безусловность.

Построение философской системы на почве философских начал приводит к *метафизическим* системам, а сами начала в качестве *принципов* могут быть выделены как объект особого внимания. Таким образом философия разделяется на *принципы* и *метафизику*. (Принципы должны быть понимаемы здесь как подлинные *начала*, поэтому они не должны быть непременно общими рациональными положениями, из которых будто бы можно «вывести» остальное философское знание или метафизику.)

В то время как метафизика может быть знанием во втором из приведенных значений (знание о бытии вообще), начала должны быть теоретическим знанием *до* построения теорий в значениях втором и первом. Речь идет, следовательно, о *спекулятивных принципах*.

2. Спекуляция и опыт (интуиция идеальная и опытная)

Необходимо установить некоторые отличительные черты спекуляции для понимания дальнейшего.

Оставим в стороне вопрос о мышлении без слов, и просто констатируем факт, что большая часть нашего мышления находит свое выражение в *словах*, в речи. Анализ того, что скрывается за словесным выражением, позволит нам ближе подойти и к решению нашего вопроса.

На примере любого имени, обозначающего вещь действительно окружающего нас мира, мы можем легко убедиться, что за ним скрывается или им обозначается некоторая совокупность представлений, доставляемых нам восприятием или памятью. Эта совокупность представлений оказывается в высшей степени переменной и изменчивой, в значительной степени «случайной» и в полном смысле слова *sub<эктивн>ой*. Это есть некоторое переживание нашего *sub<эктивн>ого* опыта. Но дальнейший анализ того, что выражается в имени, откроет нам, что им выражается также нечто, претендующее на устойчивость, нечто, что остается *тем же* при всех переменах в нашем переживании и что может быть обозначено как *понятие*, закрепляющее в себе научный опыт.

Имея в виду применение понятия в целом нашего знания, мы различим в нем прежде всего *объем*, который ставит на первое место формальная логика, но противопоставим ему, как простой совокупности, еще то, что в логике называется содержанием понятия и что имеет очень сложную природу. Для нас существенно выделить в нем только один момент, играющий, впрочем, в содержании понятия самую важную роль. Мы можем заметить, что это содержание всегда выступает перед нами до известной степени «организованным», объединенным одной общей *идеей*. Эта идея не может быть извлечена из понятия, как продукт того или иного процесса его «образования», так как, — отбросив всякого рода логические и психологические теории последнего, — мы должны признать, что всякое такое «образование» возможно только при условии руководящей им идеи. Идея, которая закрепляет в себе сущность самого понятия, то есть сущность, находимую в понятии, постигается нами не каким иным путем, кроме идеальной интуиции умозрения. Другими словами, идея есть орудие или орган умозрения.

Таково то, что — в грубых и основных чертах — выражается *словом*. Но не бывает ли слов «пустых»? Нелегко ответить, потому что со *всяким* словом, даже чуждым, можно связать какое-нибудь представление, — но *не то*, что нужно. Следовательно, уже здесь что-то должно руководить нашим выбором представлений. Но утвердительный ответ на наш вопрос обозначал бы прежде всего отсутствие *sub<эктивн>ых* представлений. Если это при каких-либо условиях возможно, то тем более возможна пустота слова в отношении понятия. Но несомненно, что пустое слово приобретает для нас все свое значение, лишь только мы получаем возможность

заполнить названную пустоту. И мы при этом можем констатировать, что заполнение производится нами или через указание интуитивных данных опыта или через воображенное. Чем заполняется пустое понятие? Объем и в значительной мере содержание мы заполним или классифицирующим перечислением вещей, видов, родов и т. п., или путем выводов и умозаключений. Но чем в содержании понятия может быть заполнена идея? Если понятие лишено идеи, или мы ее не знаем в нем, мы беспомощны сделать какое-либо применение из понятия, беспомощны найти место среди других понятий опыта. Идея, как мы знаем, не может быть получена путем вывода, а может быть только усмотрена в спекуляции, следовательно, она должна быть «указана» точно так же, как указывается содержание опытной интуиции. Но здесь мы встречаемся с затруднением, которого не было в первом случае. Именно, в случае отсутствия непосредственного данного интуиции мы обращались к помощи воображения. Но идея не имеет образа и она невообразима, иначе и она была бы только предметом нашего *sub* <ъективн>ого опыта. Итак, она ничем не может быть заполнена кроме себя самой, она может быть только усмотрена идеально. Как указано, хотя такое усмотрение совершается по поводу опыта, тем не менее оно не есть сам опыт.

3. Уразумение

Для того, чтобы разрешить этот трудный вопрос, следует обратить внимание на следующее обстоятельство. В силу необходимого характера наших средств выражения мы обратились к слову как их типичному и очень широкому образцу. Но если проанализируем другие способы выражения, — искусством (живопись, музыка и пр.), — мы всюду найдем одно общее всякому выражению качество: мы ищем в нем выражение опыта, а в действительности получаем только «часть» его. То, что фиксируется в слове, по необходимости «вырвано» из некоторого «целого» нашего переживания, изолировано и разбито. Так в особенности это бывает, когда мы в качестве примеров приводим «отдельные» слова и выражения. Но что совершенно не передает фактически испытываемой нами непрерывности, связанности и целостности нашего опыта. Действительность, которая так или иначе выражается, не стоит перед нами, как куча кусков или хаос отграниченных друг от друга вещей. Сама действительность, если мы пытаемся охватить ее в целом, составит только «часть» еще более обширного целого, которое проносится перед нами, как вихрь столь же многообразного разнообразия, сколь и прочного единства в нем. Мы говорим *о потоке переживаний* или *потоке сознания*, в котором улавливаем единство непрерывности с такой же ясностью, с какой неясностью констатируем в нем раздробленность и отдельность. Нужно усилие, искусственная остановка (рефлексия), для того, чтобы можно было зафиксировать тот или иной «член» или «момент» в этой непрерывающейся единой смене.

Правда, даже искусственно таким образом достигнутая изоляция и выделение не бывают *вполне* бессвязны. Даже когда мы приводим «примеры», мы устанавливаем между ними и другими моментами речи определенную связь. Строго говоря, иного мышления, а следовательно, и выражения, — потому что выражается то, что мыслится, — быть не может (и у умалишенных есть свои связь и единство). И так как эта связь есть организующая (в единство) связь, то и в ней должна присутствовать идея. Следовательно, если понятие, подобно слову, и может выступать изолированно (в классификации), то это может относиться к его формальному объему, но это не может иметь место, если имеется в виду его идея.

Как связь или «отношение» само *может быть* выражено и может составлять содержание понятия, так для осуществления этого выражения *должна быть* привлечена идея. И здесь обнаруживается, что понятие в целом должно выражать не только мысль, но и *со-мысль*, т. е. *смысл* выражаемого предмета. Как понятие составляет смысл грамматического слова, так в идее можно видеть смысл логического слова, или понятия. Можно сказать, что в широком значении смысл понятия составляет все его содержание, но поскольку речь идет об единящем и организующем начале самого содержания, постольку в идее выражается смысл по преимуществу.

Эти соображения с достаточной ясностью показывают, что идея свойственно особое стремление выходить за границы своего понятия и слова, ей тесно в них. Но в силу присущего ей организующего начала она переводит вместе с собою за границы лексических и логических рамок также все содержание слов и понятий. В этом состоит ее осуществление и через это только она может быть заполнена. Она всегда выступает в смысле, имеет его с собою, им заполняется и через него и в нем осуществляется. В конечном итоге смысл охватывает *все* в идее, все ее содержание, а потому и идея должна выражать его во всей его полноте. Раскрытие этой полноты смысла вплоть до его начал и источников есть *узрение* в нем самого *разума*.

Таким образом *к умозрению привлекается уразумение*.

4. Диалектика

Открывающееся таким образом своеобразие предмета должно обуславливать собой также особенный путь, каким мы к нему приходим, как и свой метод изложения или изображения (выражения) этого пути. Отчет о пути умозрения, как мы видели, есть необходимое требование самого философского познания, а самый этот путь, тесным образом сплетаясь с предметом, составляет как бы часть его самого. Это в особенности придает своеобразие методу выражения нашей спекуляции.

Каково бы ни было выражение нашего умозрения, оно необходимо должно заключать в себе элемент выражения уразумемого нами смысла. Поэтому справедливо называть этот специфический

элемент *истолкованием* или *интерпретацией*, заключающимися в каждом выражении, как заключается сам смысл в выражаемой идее сущности*. Совершенно несомненно, что всякое умозрение подлежит интерпретации, и только в таком виде мы можем иметь с ним дело. Тут и открывается то в высшей степени важное свойство умозрения, которое определяет собою метод его выражения.

Как всякое выражаемое понятие (слово) может иметь различные значения, так и идея приобретает в истолковании различный смысл. Его раскрытие, как присущего определенной сфере идей, есть обнаружение внутренне присущей ему *мотивации*; точно так же, как раскрытие значений слова ведет к обнаружению специфического условного значения определенной системы разговора. (Совершенно противоположно этому генетическое определение и объяснение предметных отношений. Сущест<венна>я разница в том, что раскрытие объясняющих оснований предмета слова (и опыта) ведет в обобщающем направлении, а мотивация — в индивидуализирующ<ем> направлении. Но в то же время только указание этой последней тенденции может служить регулятивным и эвристическим принципом опытного объяснения.)

Значение слова в данной сфере опыта устанавливается сравнительно легко обращением к нему самому и к его определению. Мотивировать в таком случае означает ничто иное, как указать данные здесь и теперь опыта, а в зависимости от этого и определяется *возможность* значений. Иное дело в сфере идей, здесь установление смысла не представляет такой легкости. И дело здесь не только в «слепоте» по отношению к идеям, а в сущности самой идеи заключается то, что она не может дать таких легких путей для проверки своей мотивации. Мотивация здесь по существу носит иной характер, так как исключается возможность обращения к здесь и теперь опыта. Их, — как и всех других *условий*, — не может существовать для безусловной идеи. Она дается даже не «на веки веков», а стоит над ними, вне всяких условий R<аум>'а и Z<eit>'а. Ее индивидуальность также должна быть идеальной и безусловной, а потому и *возможность* ее смысла должна раскрываться безусловно.

Но это не значит, что перспектива возможностей для смысла идеи остается «бесконечной» или неопределенной. Уже формальная логика ограничивает альтернативные возможности применения понятий. Не только противность понятий и их противоречивость находят свое ограничение в пределах рода (например: «не-стол» дает возможность всякой «мебели»...**), тем более определенный характер носит выбор возможностей в противопоставлении суждений, где он ограничивается прямо называемым субъектом суждения. В опыте возможность определяется по большей части *началом*

* Метафизическое проникновение в разум смысла есть проникновение к *энтелехии*! То, что соответствует истолкованию в энтелехии, есть *герменейя*.

** Далее в тексте читаем не совсем разборчивые слова: «по святости или органического (?) мира или звезд и пр.». Возможно, при последующей доработке текста автор предполагал развернуть данный пример (прим. публикаторов).

разговора или рассуждения (например: «Вам передаточный»? — «Нет» — «прямо» и т. п.)*. Перемена условий или повторение опыта дает средства удостовериться в правильности взятого направления и выбора.

Последнего идея явно лишена, и для нее должны быть установлены иные способы «проверки»: улавливаемая вне всяких условий, она при «повторении» выступает всегда так же абсолютно, как при первоначальном (первичном) усмотрении. Понятно, что и «начало разговора» для нее, — хотя и служит тем, *по поводу чего* она возникает, — не может определить ближе возможности ее смысла, ее «или». Но вообще она не может опираться принципиально на такое «начало», так как сама является *началом*, с которым всегда и имеет дело спекуляция. Остается только путь формального ограничения, который вполне приложим здесь, так как идея, относясь к сущности понятия, должна сохранять в себе те же отношения родовой и видовой подчиненности, которые вообще присущи самому понятию. Но стоя вне всяких условий при выборе возможности, она в своем определении проходит их все одну за другой. Смысл идеи выполняется в том, что она проходит через все присущие ей возможности в форме *«или — или»*. А так как эта форма есть форма *ponendo tollens* или *tollendo ponens*, то полное раскрытие достигается во внутренне систематизированном чередовании *«да»* и *«нет»*.

Присущий нашему разговору характер диалога есть существенная особенность самого разума и суждения, также внутреннего мышления. Рго и contra в мысли, разговоре, взаимном разумении и т. д. есть необходимый метод выражения и интерпретации. Отсюда искомый нами метод оказывается *диалектикой*.

Философия в ее целом есть несмолкаемый *спор*, облеченный в индивидуальные исторические формы, этот вечный спор дает бесконечное разнообразие вопросов и ответов, которые и составляют содержание так называемой «истории философии». И чем большее разнообразие ответов встречает какой-либо вопрос, тем, следовательно, она богаче своим смысловым содержанием, тем больше альтернатив представляет раскрытие возможностей в смысле идеи. Даже всякое «нет» приобретает в этом диалектическом развитии свое положительное место, и нет «смыслов», в ней «навсегда» исключенных, но остается неисчерпаемое богатство интерпретаций для нового в ней творчества. Другими словами, определенность вопросов философии не полагает предела творчеству интерпретаций и ответов. Как непосредственно идеальный предмет должен быть «усмотрен», а не «образован» или «доказан», так же самостоятельно и свободно должна быть найдена интерпретация его смысла. Так как в конечном итоге только одна альтернатива может сопро-
ждать последним «да», то осущ<ественны>й(?) процесс диалектики в герменевтическом раскрытии может дать только *одну истину*, но пока этот процесс остается незавершенным, предвидение

* Вероятно, речь идет об одном из значений устаревшего слова «передаточный».

возможностей остается абсолютно свободным. Результаты «разговора» с истиной, поэтому, не только в «истории философии» расположатся в диалектической цепи интерпретаций, но каждая из них окажется окрашенной личным гением самого философа. Вот почему выразительнее философское обозначение этих интерпретаций собственными именами, чем отвлеченными знаками (отсюда — платонизм, картезианство, лейбнизианство и т. д. и т. д.).

Как конкретна и индивидуальна постигаемая философски целостность, так конкретно и индивидуально выражение ее интерпретаций. От этого и получается такое впечатление, что идеи ведут историю, и что диалектическое изображение хода философской мысли есть ее историческое изображение. Правда здесь только в том, что историческая смена философов была диалектической сменой ее проблем и ответов на них. Идея держится и живет в истории, пока не исчерпаны все возможности ее интерпретации, но быстрая исчерпаемость ответов на ее запросы свидетельствует только о бедности последних. Не только косвенно, но и прямо это свидетельствует уже о неистинности самих выраженных нами запросов, — это мнимый смысл и ложная проблема, так как подлинная истина в своем конкретном богатстве неисчерпаема. Тут только мы находим средство удостовериться в идеальном смысле, как в опыте мы удостоверяемся в значении выражения. Истинный смысл идеи и истинная идея бессмертны и не могут исчерпаться в раскрытии своих возможностей. Философия есть великое непрерывное движение проблем, вопросов, сомнений, догматов, критики. Уловить диалектический смысл в этом движении значит уразуметь подлинный смысл самой философии.

5. Платон и Кант

Величайшими «Да» и «Нет» философии из когда-либо высказанных ею, является антитеза Платона и Канта, потому что она касается самих начал во всем их всеобъемлющем смысле. Все другие антитезы или заключаются в этой как ее части и стороны, или дополняют ее и еще больше углубляют.

Началом для Платона являются утверждение и диалектический анализ *бытия* как наиболее общей формы и «того же» (*τό αὐτόν*) в нем как существенного принципа предметной истины. К самому бытию Платон подходит диалектически, полагая своей прямой задачей разделение его «видов». Проблема о *τό οὐ* или о *τα οὐτα* оказывается совокупностью проблем, где, с одной стороны, *τα οὐτα* дает поводы к *τό φαίνομενον*, а с другой стороны, истинная *οὐσία* выступает как «место» истины в идеях.

Отметим только следующие основные принципы Платона, в которых раскрывается утверждаемое им *начало безусловной истины*: а) истина для него предметна и усматривается нашим разумом в идее; б) высший принцип всякого утверждения истины есть «то же» в ней, т. е. принцип тождества; в) полнота истинного бытия,

познаваемая как конкретная целостность общего; d) идея выражает его сущность и всякое бытие утверждается через причастность ей или участие в ней; e) идея конечной сущности, блага, разумна, так что за разумом сохраняется его автономия.

«Нет» Канта по отношению к Платону лучше всего сказывается в его сравнении себя с Коперником. Весь мир Платона, как он включен в λόγος'ть (τό φαίνόμενον—τα οὐτα—ιδεαι), он заставляет вращаться вокруг Субъекта так, что он оказывается обращен к последнему, — как луна к земле, — только одной своей стороной: τό φαίνόμενον. В результате — не только отрицание «места» истины, но ошибочное перенесение ее абсолютиности (καθ' αὐτό) на вещи, превращаемые таким образом в Ding an sich, с ее внутренним противоречием: познанием ее непознаваемости.

Сообразно этому основное начало Канта, законодательство Sub<ъек>та, раскрывается в следующем виде: а) в начале познания лежит софизм, выражаемый в дилемме: или предметы, или представления, — отрицание первой части дилеммы дает утверждение второй; б) тождество есть принцип аналитических суждений, не расширяющих нашего знания, — синтетические суждения имеют своим принципом «я мыслю», а не высказывают истину; в) общие положения нашего знания имеют абстрактный характер и представляют собой не высказывания об истине, а общеобязательные суждения, истинность которых тем более, чем они дальше от действительности; d) как источник познания идея антиномична и может играть только роль регулятивного принципа, в роли конститутивного принципа она приводит только к иллюзиям; e) выход из антиномичности разума лежит в отрицании его автономии и через признание его благодати.

Как до Канта развитие философии представляло собой преимущественно раскрытие возможностей, заключенных в идее платонизма, так после Канта философия XIX <века> представляет собою преимущественно раскрытие возможностей его «нет» по отношению к Платону. В системах немецкого идеализма мы встречаем ряд альтернативных утверждений в раскрытии чистого отрицания Канта. Их отрицание и голое утверждение τα οὐτα было следующим шагом философской диалектики. Последовавшая за этим реставрация Канта заставляет вновь вернуться к платоновским «да», чтобы отвергнуть Канта и искать положительного раскрытия заключенных в Платоне возможностей.

6. Резюме к антитезе Платон—Кант

Итак, сравнение принципов Платона и Канта приводит нас к признанию, что, какие бы возможности ни раскрывались в Канте, в чистом виде его принципы можно считать чистым «нет» по отношению к «да» Платона. «Нет» Канта обнаруживается в умоглядном отношении с двух коррелятивных сторон: со стороны

«формального» ограничения философии и со стороны *существенно-го* отрицания истины.

а) Это есть прежде всего отрицание конституального значения идей, провозглашение их призрачности и иллюзорности для знания. «Местом» истины, и то только условной, остается мир явлений, τό φαίνόμενον, и само собою возникает отделение *τα ὄντα* от явлений в вещи в себе. Уход от внутренних противоречий такого допущения уже неизбежно приводит к чистому субъективизму. Утверждение субъективистической философии есть в то же время отрицание философии как познания предметного «всего» и, следовательно, ограничение философии единственно «теорией познания». Действительным новым «да», платоновским, в этом отношении было бы отыскание и установление *принципов* («основной науки»).

б) Но в целом это есть существенное отрицание истины, так как провозглашение даже безусловного Sub<ъек>та не может гарантировать безусловной истины познания, раз он в каком бы то ни было отношении оказывается ее условием. Только в собственной сфере он мог бы обнаруживать безусловную истину, а это и означало бы еще раз отрицание безусловной *предметной* истины (раскрытие кантовского «нет» в этой возможности приводит к солипсизму). Поэтому всякое предметное познание остается, по Канту, необходимо условным. Философия такого рода не может быть названа даже скептицизмом, а есть чистый *негативизм*. Новое положительное должно состоять в отыскании самой *истины* наших предметных высказываний через установленные принципы.

Во всяком случае нужно элиминировать условное посредство Sub<ъек>та, и прямым путем для достижения этой цели явилось бы раскрытие софизма, заключающегося в кантовской дилемме. Но это не было бы раскрытием возможностей, которые таятся в негативистическом кантовском sub<ъективизм>е. Последнему предстоит раскрыться во всех своих *положительных* формах, но следует также обратить внимание на само проведенное разделение: оно существует как относительное разделение «начала» и «продолжения», но как абсолютное разделение «Prolegomena» и «будущей метафизики» оно возникло только благодаря Канту. Философия Платона и вся философия до Канта этого абсолютного разделения не знает. Для положительной философии «принципы» не составляют какой-либо «особой» науки, а суть только начала всего последующего изложения, развития начал, раскрытия их, словом, их *продолжения*. Даже у непосредственного предшественника Канта, у Локка, учение о границах человеческого разума есть только *начало* философии, а не все ее содержание.

Но это разделение создало то, что философская мысль прежде всего устремляется на самую истину, которую и ищет получить в положительной интерпретации субъективизма. *Задача* абсолютного идеализма и состояла в отыскании абсолютной истины, но, достигнув необычайного расцвета, абсолютный идеализм потерпел полную неудачу в *решении* проблемы. Возникшая как реакция против

надежд абсолютного идеализма *задача* утверждения относительности самой истины объявлялась иногда как разочарование в философии и даже просто «падение» философии в системах натурализма и позитивизма, давших своей проблеме не менее неудачное решение. Тогда только начинается устремление философии к первой стороне разорванного Кантом единства, и вместе с полным отрицанием данности истины расцветает ограничительное толкование философии как *теории познания*. Начинается реставрация Канта. Только в самое последнее время все чаще встречаются попытки отвергнуть самый софизм кантовской дилеммы, и с тем вместе обнаруживается необходимость восстановления платоновского «да».

7. Положительные возможности, заключенные в кантовском «нет»

Философия Канта задает тон всей философии XIX века, по ней настраиваются в большей или меньшей степени как негативные, так и положительные направления. Платонизм продолжает жить, но скрывается под видной всем поверхностью философской мысли, его значение и роль незначительны: только поскольку оживляются еще идеи последнего платоновца Лейбница, постольку можно слышать голос платонизма в общем хоре философии XIX века. Только в последнее время этот голос выдается все яснее и звучит чище. В своем диалектическом тоне философия должна была сперва раскрыть все возможности кантовского «нет» и обнаружить скрывавшиеся в нем проблемы. Как указывает уже Шопенгауэр, основной проблемой, поставленной кантовской философией, была проблема *идеализма — реализма*.

Идеалистической мы называем также проблему Платона, но смысл ее выражается не приведенным противопоставлением, а противопоставлением принципиально иным, это есть проблема *идеализма — феноменализма*. Глубокое различие этих проблем состоит в том, что термин «идеализм» у Канта имеет смысл совершенно иной, чем у Платона. С точки зрения этого смысла кантовское противопоставление правильнее выразить соотношением *феноменализм — реализм* или, имея в виду постановку вопроса в его собственной дилемме, *субъективизм — объективизм*. «Идея», как заключающая в себе только феноменальное содержание, есть *представление*, а не эйдос, — сам Кант был прав, выступая противником идеализма. Трансцендентальный идеализм не есть особый *вид* идеализма, а есть только *гомоним* последнего.

Непосредственные продолжатели и последователи Канта ищут только такой интерпретации Sub<ъек>та, которая могла бы уничтожить вытекающие из кантианства противоречия и скрыть его откровенный негативизм. Но в то время как антропологическая интерпретация уничтожает самый смысл кантовской критики,

трансцендентальная интерпретация вводит новую проблему абсолютного знания, представляющую диалектическое раскрытие возможностей его негативизма.

Собственное полное и принципиальное «нет» по отношению к Канту, которое дало бы цельное и положительное «да» в философии, должно было бы состоять в принципиальном отрицании самой его софистической дилеммы, так как всякая попытка разрешения философских задач на почве принятия этой дилеммы заранее ставит исследователя в то положение, в каком находился отвечавший «нет» на вопрос: «Ты потерял рога?». Единственно Якоби сумел стать на почву до этой дилеммы, и тут ему должно быть отведено почетное место за попытку защитить права *разума**. Но Якоби слишком доверился «вер» Юма, и его «откровение» было лишено тех самых *теоретических* оснований, которых не мог найти ни Юм, ни Кант. И так как все-таки Кант представлял дело так, как если бы он нашел такие основания, то в конце концов влияние Якоби оказалось весьма незначительным (больше сделал Фриз, но и он был смыт волной идеализма). Только наше последнее время повторяет по-новому попытку Якоби.

Идеализм произносит «да» по отношению к кантовскому Sub<ъектив>зму, принимает тем самым самую постановку вопроса в кантовском софизме, но ищет средства раскрыть кантовское отрицание в положительном утверждении *абсолютного* против вытекающих из Канта относительности и условности. Отрицательность трансцендентального идеализма принимает форму положительности в абсолютном идеализме и выдвигает на очередь новые проблемы. У него есть общая задача и единство направлений, которые должны быть уловлены в своей общности и единстве. Имея в виду дальнейшие пути философского развития, мы можем не останавливаться на индивидуальных и специфических различиях**.

Есть какая-то провиденциальность в том, что история вызвала против кантовского veto самих гениев разума, заставила их всемирно демонстрировать силу его сковывающих разум пут! В клочки рвутся сети многочисленных кантовских «дедукций», провозглашается абсолютное творчество *разума*, узурпированное было рассудком, снимаются «регулятивные» цепи его самоуничтожающего als ob, — можно только дивиться безграничной мощи скованного Прометея, но все же он — в оковах, пока не разрушена скала кантовского «или—или». Абсолютное поглощение Sub<ъек>том всего в себе самом, полное растворение и слияние Sub<ъек>та-Об<ъек>та в абсолютном тождестве, наконец, пламенное устремление Sub<ъек>та к себе самому через свое инобытие и абсолютное самообретение, — таковы три ступени, через которые ведут кантовский Sub<ъек>т Фихте, Шеллинг и Гегель. Как велика

* См.: Явление и смысл.

** В этом месте на полях читаем карандашную пометку Г. Шпета: «Можно вставить краткое изложение Ф<ихте>, Ш<еллинга>, Г<егеля> (неиспр. стр. 5)» (прим. публикаторов),

была сила творческого воображения, или как велико было самомнение этих великих гениев разума, чтобы не видеть, что величественные одежды самосознания, духа, разума надевались ими на деревянный манекен кантовского Sub<ъек>та, — это можно понять, оценив во всей полноте то разочарование, которое испытало увлеченное этим вихрем творческой мысли человечество, раскрыв, наконец, тайну Салимановых визирей в этом лжевоскресении умерщвленного Кантом разума. Творчество самих гениев разума осталось бесплодным, но зато тем ярче должна запечатлеться в сознании верующих в него его безграничная мощь, его, в этих самых тяжелых условиях, обнаружившего столько энергии и вызвавшего к жизни столько новых проблем.

Как орел, устремился дух Фихте к солнцу, его взор объял бесконечные горизонты, но он упал, не долетел до цели, так как у него не было сил создать из себя самого воздух, необходимый для его полета, когда он очутился в безвоздушном пространстве, самодовлеющий, вынужденный из самого себя получать воздух и для дыхания и для полета. Это — он поверил Канту, что небо — только «призрак» (SCHEIN), что в природе он сам законодатель, что солнце, к которому он устремился, воздвигнуто в мире только его привилегированной волей.

В экстатическом вдохновении прорывается Шеллинг к скинии завета и обессиленный опускается на колени перед завесой алтаря, сквозь волнующиеся ткани которой он видит тончайшие загадки бытия, но он пал ниц, сам пораженный ими, и сумел рассказать нам только услышанные им в шелесте таинственной завесы мифы и сказания, да долетевшие до его слуха невнятные прорицания — оракулы совершавших там свою жертву. И его обманул Кант, и в том же, что и Фихте, — а обнаружив ложь, он уже не нашел в себе нужного ему для уразумения разума.

Не учиться плавать пустился Гегель в открытое море, а как искусный пловец, подобно Колумбу, он хочет уйти от себя, чтобы вернуться к себе, и на своем отважном пути он открывает новые земли. Но это — не таинственная жемчужная INDIA, куда влекло его, а окраина Нового Света, который он и поспешил связать крепче с землей своего исхода. Гегель не послушался Канта и бросился вплавь, но все же и он был обманут Кантом, так как твердо верил, что, возвратившись к себе самому, он на равнинах Пруссии найдет заветный клад истины. Он был у самого порога царства идей, ему открылось, что не он — законодатель, и все действительное прониклось для него разумом, он видел, что разумное — не призрак и не *als ob*, а оно — действительно, но облеченная плотью его действительность склонилась перед восторгом Канта от родного девиза: «Повинуйся»*.

* Намек на верноподданнейшие восторги Канта (в статье «Was ist Aufklärung»?) перед Фридрихом II, повелевавшим, подобно всем пруссакам, «повелевать», но позволявшим при этом же «молчать».

Каково бы ни было значение частных проблем, внесенных идеализмом в философию, два вклада принципиальной ценности вносятся им в положительную философию: *восстановление прав спекуляции и утверждение разума в действительности*. Оба эти результата приобретаются, однако, так сказать, попутно, и сами по себе не составляют принципов идеализма, они, можно сказать, обнаруживаются вопреки кантовским принципам, заложенным в идеализме. Поэтому главное значение абсолютного идеализма оказывается не в этом общем, а в его частных результатах. Правда, в идеализме философия не равна пролегоменам, как у Канта, но в своем последнем слове она все же ограничена: Гегель бросился в воду, но, выплыв, нашел только самого себя, — абсолютный идеализм остался субъектоцентрической философией. Только частный результат у Фихте — как следствие его *теоретического эгоизма* (со спиритуалистическим оттенком) *философия духа*; у Шеллинга — как следствие его натурализма, *философия N<atuga>* мистицизма и его «положительной философии», *философия религии*; у Гегеля — как следствие панлогизма, *философия истории*.

8. Ошибка абсолютного идеализма

Канту казалось, что относительность нашего знания зависит от случайности самих объектов знания, поэтому, задавшись целью показать необходимость и общегодность знания, он поставил его в зависимость от самого познающего Sub<ъек>та. Но как годность зависит от цели или задачи, так необходимость зависит от оснований и условий. Задачей у Канта было феноменальное познание, а условиями — функции рассудка. От этого, утверждая необходимость и годность, он тем самым отрицает *безусловность* познания с помощью рассудка и в мире феноменальном. Источником же безусловного знания признается разум, а его объектом — разум в «вещах». Если бы разум обладал той же творческой функцией, что рассудок, он создавал бы безусловные предметы, а не явления только. Таким образом, круг кантовской мысли замыкается следующим образом: признание вещей не дает необходимого знания, следовательно, его дает рассудок, создавая эти вещи как явления; но рассудок не может создать безусловных вещей, следовательно, они не являются его продуктом, их создает разум, но их наличность значила бы, что для рассудка суть не только явления, поэтому, согласно предыдущему, они должны быть отвергнуты, а с ними вместе и творческая деятельность разума, т. е. наличность и возможность безусловного познания. Таким образом, уже приняв дилемму Канта, его *protos feudos*, мы приходим ко второй его же, будто: как необходимость бытия зависит от необходимости Sub<ъек>та, так и безусловность предмета должна зависеть от безусловности Sub<ъек>та (*resp.*, представлялось, безусловность Sub<ъек>та — от безусловности Ob<ъек>та). Вы-

растающий отсюда негативизм, во всяком случае, совершенно последователен.

Идеализм поэтому совершенно непоследовательный по отношению к Канту, тем не менее поставил своей задачей добиться абсолютного, но, приняв первую ложь, он принимает и вторую, отсюда свойственное ему отождествление абсолютного знания и абсолютного бытия. Но уже в самом вопросе, возникшем на этой почве, заключается противоречие, так как при безусловности самой задачи в ее решение привносится условность в виде обуславливающего бытия Sub<ъек>та. Таким образом, ясно, что здесь: 1) произвольное кантовское противопоставление творческого Sub<ъек>та и творимого Ob<ъек>та сохраняется во всей своей силе; 2) произвольно отождествляется абсолютность знания и бытия. В то время как идеализм полагает все усилия на преодоление первой ошибки идей *тождества* и, не отвергая самой кантовской дилеммы, напрасно тратит силы, вторая ошибка остается им незамеченной, так как в конце концов она им самим, главным образом, и вносится в философию.

Но раз мы так или иначе пришли к разделению познания и бытия и ставим теперь вопрос об абсолютности и относительности в применении к этой корреляции, имея при этом в виду даже больше, чем простая Sub<ъектив>ная необходимость и общегодность познания, то мы должны раскрыть все возможности такого применения в их положительном смысле. Чисто *формальное* соотношение выразится в четырех простых возможностях: 1) абсолютное познание относительного предмета; 2) абсолютное познание абсолютно; 3) относительное познание абсолютного; 4) относительное познание относительного. Если мы теперь вскроем положительный смысл каждого из этих положений, то он представляется нам в следующем виде: речь идет о 1) безусловном познании эмпирического, 2) безусловном познании идеального, 3) условном познании идеального, 4) условном познании эмпирического.

Кант обращается исключительно в сфере последних двух возможностей, а его «необходимость» простирается только на одну последнюю. Что касается предпоследней, то <она> вновь расчлениется сообразно двум интерпретациям «идеального», — как предмета логического и трансцендентного, Абсолюта. Негативизм Канта сказывается прежде всего в отрицании двух первых возможностей, каковое отрицание есть отрицание: а) безусловной первичной данности эмпирической интуиции (как ощущения, так и рефлексии) и б) безусловной данности интуиции идеальной или умозрения. После этого идет подмена платоновской *истинности* понятием необходимости и гóдности, и условное познание оказывается обладающим такими признаками. Сомнение вызывает только смысл «условного познания Абсолюта», которое и разрешается Кантом в постулате практического разума.

Идеализм совершенно справедливо, однако, протестует против такого выхода и хочет уничтожить третью возможность, перейдя к признанию второй и отрицанию третьей, но при этом а) сохраня-

ет кантовское «условие» (Sub<ъек>t), b) ограничивает идеальное Абсолютом. Наконец, и он игнорирует четвертую возможность, а потому и приходит к неправильному обращению положения: «безусловное познание есть познание абсолютного» в положение: «познание абсолютного есть познание безусловное». Таким образом, опять платоновская *истинность* замещается признаком Абсолютности предмета. В результате два дефекта остаются до конца в идеализме: а) отрицание безусловности познания эмпирического, б) утверждение, ограничивающееся признанием безусловного познания Абсолюта.

Прямым ответом на это является утверждение относительности познания по отношению к Абсолюту и чистый негативизм в этой области как в левом гегельянстве и в метафизике, так и в позитивизме, с одной стороны, и искание безусловн<ости> (?) познания эмпирического — с другой. В этом и выражается то, что называют *крушением абсолютной философии* и провозглашением релятивизма и натурализма. Но в целом положение вещей сложнее, так как кантовская проблема необходимости и годности продолжает жить в идеализме, и теперь дальнейший диалектический ход мысли попадает в перекрещивающееся отношение этой кантовской проблемы с новой проблемой, выдвинутой самим идеализмом, проблемой *абсолютности-относительности*. Было бы, пожалуй, большим упрощением думать, что всякий антирелятивизм возвращает к учению о необходимости и априорности Канта.

9. Схема дальнейших возможностей

Из очень сложных диалектических взаимоотношений последующей философии мы выделим следующую общую схему движения проблем, которой и будем держаться (из нее определится и место антирелятивизма).

Согласно основному противоположению «да» и «нет», Платона и Канта, мы на всем протяжении этой схемы будем встречаться и с тем и с другим. Но по преобладающей тенденции того или другого будем различать: I, отрицательную философию — по преобладанию элементов кантианства и II, положительную философию — по преобладанию элементов платонизма.

I. А. Прямое отрицание абсолютного идеализма, — хотя бы даже с сохранением его некоторых положений, — могло вести обратно к *Канту* и сопровождаться утверждением *реализма*. Таким образом, создавалась возможность новой метафизики, принципиальная философия отходила на задний план внимания (Шопенгауэр, Гартман, Банзен).

В. Отрицание идеализма могло сопровождаться также отрицанием кантианства и вести к *онтологизму* и либо к принципиальной защите *релятивизма*, либо к бессознательному допущению его. Релятивизмом принципиальная философия необходимо отодвигается на второй план, — это направление от этого приобретает

по существу негативный характер, хотя отрицанием Канта оно сближается иногда с положительной философией.

а) Поскольку это направление возводит в принцип чистый релятивизм и простирает его на самую философию, мы имеем дело с самым чистым видом отрицательной философии — *позитивизмом* (Конт и контизм).

б) Поскольку берет верх релятивистское истолкование задач философии, мы имеем дело с *онтологизмом* в <таких> его разнообразных течениях, как материализм, спиритуализм, биологизм, монизм и под. (Фейербах, Молешот, Спенсер, Бенеке, Фулье, Фехнер, Вундт, Гежкель и др.).

в) Поскольку релятивизм опирается на эмпирический *феноменализм*, мы имеем дело с так называемыми философствующими физиками (Лаас, Оствальд и др.).

В общем, это — господствующее течение середины XIX века, самое богатое по числу представителей, оттенков и форм. Это обусловливается как отсутствием положительных принципов, так и множественностью *объяснительных* теорий, которые произвольно выбираются непринципиальной философией.

С. Отрицание реализма и онтологизма вызывает возвращение к *Канту* и его реставрацию, которая, впрочем, не ограничивается его чистым воспроизведением, а в своих интерпретациях обнаруживает стремление повторить послекантовскую диалектику теоретической философии.

а) Чисто филологическая интерпретация по преимуществу выдвигает наперед негативизм Канта как он выражается в *кантовском позитивизме* (Лаас, Риль и под.).

б) Попытка «развития» отрицательных начал Канта по преимуществу склонна повторять ход послекантовской философии, прежде всего, как он выразился в тенденциях абсолютного идеализма. Таким образом, по крайней мере, отчасти и здесь действует мотив антирелятивизма (Коген, Риккерт и под.).

Все три эти направления, невзирая на их различия во всех остальных отношениях, в *одном* отношении обнаруживают общее по своим результатам: они настойчиво ведут философию к отказу от себя самой или к радикальному преодолению породившего все это смешение языков кантовского софизма.

А. Метафизический реализм Шопенгауэра и Гартмана ведет к отрицанию самого разумного начала не только в его познавательной роли, а преимущественно даже в роли определяющего момента действительности. Не только Банзен с его «реальной диалектикой», но и Ницше, поставивший на свой суд самую философию, являются завершением этого направления. Теософия и мистицизм — не как провозглашение любой интерпретации, а как установление нового источника знаний, — естественно ведут отсюда к *отказу от философии*.

В. Позитивизм с его идеалом научности и онтологическая метафизика, строяемая по образцу одной излюбленной научной дисциплины, приводят к самопротиворечивой идее научной философии,

т. е. в результате опять-таки к отрицанию ее самостоятельного предмета и метода.

С. Наконец, кантианство «возвращает» нас к уже знакомым панлогизму и примату практического разума и вырождается теперь, с одной стороны, в чистый *панметодизм*, а с другой стороны, в *аксиологию*. В обоих случаях наряду с тем же провозглашением научности мы встречаем отказ от признания истины в действительности и перенесение ее, как задачи, в область буквального пути к отвлеченному завершению знания и в область долженствования.

То, что общо всем этим направлениям, напоминает момент, на котором потерпел крушение абсолютный идеализм, — в смешение, аналогичное смешению абсолютного в познании с абсолютным в предмете, впадают эти течения, что касается *рациональности*, *гесп.* *иррациональности* познания и действительности. Каждое из названных направлений *по-своему* приходит к этому результату, но приходит неизбежно.

А. К иррационализму в *положительной* форме по преимуществу приводит реализм Шопенгауэра и др. с их «сильной волей», «безсознательным» и под. Как положительное утверждение эта тенденция, хотя и выводит мысль человека из сферы философии, но имеет данные для дальнейшего развития. Две другие концепции, по-видимому, приводят к иррациональности действительности как естественному своему концу и уничтожению, так как в них этот результат есть только *ABSURDUM*.

В. Признание иррациональности самой действительности в позитивизме и онтологизме выражается в принципиально *отрицательной* форме, провозглашенной в открытом агностицизме.

С. Напротив, в «научной философии», открывшей не-научность мира и действительности и установившей поэтому в качестве идеала познания удаление от последней, — иррациональность действительности выступает в ограничительной форме *привативизма* с его отвлеченными началами так называемой теории познания.

Д. Оставалось этот *результат* длинного философского пути возвести в степень нового принципа философии, чтобы получить еще новый тип ее отрицательного направления. *Иррационализм* как проблема был по преимуществу выдвинут в центр внимания современной философии *прагматизмом* и родственными ему течениями, с одной стороны, философией Бергсона, с другой стороны. Два признака характеризуют все попытки нового философствования, исходящие из этого направления: а) *инструментализм* познания и б) *эмотивизм* философского творчества. Как ни велико значение этой новой попытки обрести правильный путь философии, она страдает теми же чертами отрицательной философии, как и все предыдущие. Главный источник этого нового творчества философии в значительной степени сближает ее с положительной философией, поскольку и она имеет в виду разрушить, наконец, софистическую дилемму Канта. Но главный источник ограниченных горизонтов этой философии по отношению к будущему лежит в ее исключительной работе в указанном направлении.

II. Положительная философия начинается с положительной творческой работы в указанном центральном пункте недоразумений всей отрицательной философии в ее целом и основном. Предшествующим ходом отрицательной философии определяется и ее дальнейшая программа: за устранением кантовского софизма должны быть исправлены ошибки идеализма, преодолены релятивизм и иррационализм, и должно приступить к *собираанию* уже выраженных элементов положительной философии.

10. Проблемы и принципы положительной философии

.....

Публикация и примечания М. Вендитти и Л. Федоровой.

КАРСАВИНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

В ноябре 1992 г. в Санкт-Петербурге в СПбУ состоятся Карсавинские чтения, посвященные 110-летию со дня рождения выдающегося историка культуры, философа, религиозного мыслителя Льва Платоновича Карсавина.

Журнал «Начала» предполагает выпустить специальный номер, приуроченный к Карсавинским чтениям.

С предложениями, касающимися предстоящих Чтений, обращайтесь на философский факультет СПбУ к ученому секретарю оргкомитета И. А. Савкину.

Адрес: 199164, С.-Петербург, Менделеевская линия, д. 5.

Телефоны: 218-97-77; 218-94-28; 218-94-21.

ШПЕТ

(Статья для энциклопедического словаря «Гранат»*)

Философия в своем внутреннем развитии диалектически проходит три ступени: мудрости, метафизики, строгой науки. Философия, как *основная* наука, отличается от так наз. «научной философии», которая базируется на частных науках и содает *привативные* направления: физичесизм, биологизм, психологизм и т. п. Как теория познания Канта не преодолела метафизики, так последующая философия отступила перед отрицанием и привативизмом, будучи не в силах решить кантовской дилеммы: познание *или* отображает природу, *или* предписывает ей законы. Идеализм и материализм, принимая один из членов дилеммы, тем самым утверждают ее. Ее решение — в отыскании «3-й возможности». Эклектическое утверждение в «критическом реализме» обеих частей дилеммы оказалось бесплодным. Действительное решение исходит из отрицания полноты деления, а след., обеих частей дилеммы, и указания 3-й возможности *до* названного разделения. На этот путь стала немецкая идеалистическая философия, и в лице Гегеля достигла результатов, приемлемых для нас, однако, лишь формально, так как и Гегель не удержался от гипостазирования найденного им «тождественного» момента в абсолютную метафизическую реальность. Гуссерль своим понятием «идеации» (*Wesenserschauung*) возвращает нас к принципиальному преодолению дилеммы. Brentановское понятие интенциональности и гуссерлевское положение о предметности сознания Ш<пет> принимает. Но он видит опасность натурализма в утверждении Гуссерлем *первичной* данности за перцептивностью и опасность трансцендентализма в утверждении «чистого Я», как единства сознания. Если мы с помощью рефлексии и метода редукции действительно можем прийти к философскому анализу и критике сознания, исходя из непосредственного опыта, то мы должны брать этот опыт в его конкретной полноте культурно-социального опыта, а не в его абстрактной форме восприятия «вещи». С другой стороны, если верно, что «я обладаю сознанием», из этого не следует, что сознание принадлежит только «я» («сознание может не иметь собственника»), так как могут существовать формы и коллективного сознания. Формы культурно-социального сознания находят свой элемент в слове-понятии, *первично* данном не в восприятии *вещи*, а в усвоении *знака* социального общения.

* Рукопись воспроизведена в орфографии автора.

Для традиционной логики понятия критика Бергсона убийственна. Живое понятие, опирающееся на слово, как на своего материального носителя, улавливается нами не как концепт только, а как конкретное единство *текущего смысла*. Усмотрение смысла есть *понимание*, которое так же непосредственно, как и чувственное восприятие, — здесь центральная проблема философии Ш<пета>. Внутренние формы слова, определяемые им как правила образования понятий, но не как формулы, а как алгоритмы, не только оформливают течение смысла, но и открывают возможность особой диалектической интерпретации выраженной в слове реальности. Эта интерпретация, раскрывая все *возможности* в движении смысла, приводит философию к философии культуры как движению осуществляющихся возможностей. Реальность конкретной действительности есть ее *реализация*, предполагающая основание (*ratio*), в силу которого осуществляется данная, а не иная возможность. Неореализм прав, отстаивая реальность чувственных качеств, но он не прав в убеждении, что их установлением ограничивается проблема реальности. Подлинно реален только последний конкретный культурно-социальный опыт. Подобно тому, как предикация через внутренние логические формы запечатлевает смысл и действительность познаваемого, в квазипредикативных формах фиксируются *отрешенные* сферы искусства, где внутренние художественные формы оказываются алгоритмами эстетического восприятия.

Каждый социально-культурный факт, подобно слову, *значен* и, след., подлежит диалектической интерпретации. Но в то же время, подобно слову, он оказывается выразителем объективирующих себя в нем субъектов, как личных, так и коллективных, — народ, клас, эпоха, и т. д. В этой своей экспресивной выразительности социальный знак может быть объектом психологического анализа и изучения (психология социальная и этническая), поскольку психологическое берется здесь, как реакция субъекта, существующего в своей среде и обстановке («социальный релятивизм»), на эту среду и через нее на окружающие явления природы и истории.

Особо стоят работы Ш<пета> по истории русской философии.

Главные работы:

«Явление и смысл», 1914.

«История как проблема логики», ч. 1, 1916.

«Сознание и его собственник», 1916.

Статьи в выходившем под редакцией Шпета ежегоднике «Мысль и слово», 1917—1921 («Мудрость или разум?», «Скептик и его душа», «Философия Джоберти»).

«Философское мировоззрение Герцена», 1921.

«Антропологизм Лаврова», 1922.

«Эстетические фрагменты», вып. I, II, III, 1922—1923.

«Театр как искусство», 1922.

«Введение в этническую психологию», ч. 1, 1927.

«Внутренняя форма слова», 1927.

Написано 19 июня 1929 г.

А. А. МИТЮШИН

О ТОМ, КАК «ДЕЛАЕТСЯ» ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

(Комментарий к статье «Шпет»)

Одна из многих околонучных сплетен, которые существуют вокруг имени Г. Г. Шпета, называет его «гуссерлианцем». Это очень досадное и нелепое заблуждение; оно основано на *поверхностном* знакомстве с *одной* только его книгой «Явление и смысл» (1914). Если кроме подзаголовка и предисловия внимательно ознакомиться и с ее содержанием, то будет ясно, что феноменология важна Шпету как рецепция платонизма и антитеза неокантианству, а не сама по себе, как некое обособленное «направление».

У нас вообще практикуется «оценка» философов по *названиям книг*, — побочный плод распространенного бюрократического мышления. Написал И. А. Ильин двухтомный труд «Философия Гегеля», значит — гегельянец. Написал Шпет книгу о поворотном значении феноменологии для развития новейшей философии, значит — «гуссерлианец». Все так просто... Но если эти книги еще и прочесть, то можно убедиться, что Ильин с его «аналитическим интуитивизмом», скорее, феноменолог, а Шпет, напротив, настоящий последователь Гегеля, *то есть* наследник мировой философской традиции. Кстати сказать, Шпет написал рецензию на указанную выше книгу И. А. Ильина*, упрекая его в том, что тот взял Гегеля без его диалектики. Вот какие любопытные детали таит в себе материал истории философии для своих «оценщиков»!

Но с чего же началась квалификация Шпета как «гуссерлианца»? Что послужило здесь отправным пунктом, «источником», помимо обычного поверхностного и безответственного отношения к философским текстам? Чтобы ответить на эти вопросы, надо иметь в виду, что «история философии» в Советской России да-

* Эта рецензия (под названием «Опыт популяризации философии Гегеля») осталась незаконченной и находится в архиве Шпета.

леко не всегда складывалась естественным образом. Уже с конца 20-х годов существенную роль во всех философских «делах» стал играть, помимо автора, его *редактор* — должностное лицо, в чьих руках находились оригинальные философские тексты. В конце 40-х годов дело дошло уже до того, что книги и статьи переписывались редактором сообразно существующей конъюнктуре с начала и до конца *. Поэтому нет ничего удивительного в том, что книги тех лет выглядят так, как будто их писало одно и то же лицо. Собственно говоря, так и было: все они писались под наблюдением одного и того же «Внутреннего Редактора».

Другой печальной особенностью многих «историко-философских» суждений является оглядка на уже существующие официальные и энциклопедические издания. Дело не только в том, что один автор переписывал у другого, но и в том, что печатное слово долгое время выступало в Советской России как официальное предписание для последующих стереотипов мышления и поведения.

Конец 20-х годов (точнее — 1929 г.) был «началом» многих бедствий, поразивших культурную жизнь страны. И в этом «начале» мы находим ответ на поставленный нами частный вопрос. Публикуемый в настоящем издании текст статьи «Шпет» был написан для энциклопедического словаря «Гранат» *самим философом*** . Это — миниатюрный автореферат его философской концепции в целом. Оригинал у нас перед глазами. Давайте сравним его с опубликованным текстом, т. е. *редакционным вариантом*, который появился в 50-м томе энциклопедического словаря «Гранат» в 1932 году за подписью «Г. Г-н»***.

На первый взгляд, текст статьи не очень пострадал. Кажется, что, помимо кратчайшего «биографического» введения, сделаны лишь незначительные «стилистические» поправки. Но при внимательном сличении текстов мы убеждаемся, что эти «поправки» оборачиваются грубейшим искажением точки зрения философа, причем именно в тех пунктах, которые легко сформулировать в качестве общих «оценок» его философской позиции. Укажем здесь основные, принципиальные моменты.

1. Шпет прямо пишет: «...немецкая идеалистическая философия... в лице Гегеля достигла результатов, приемлемых для нас...». Редактор выбрасывает эти слова и переписывает так: «Этот путь в свое время нашел свое завершение в философии Гегеля» и т. д. (стлб. 379). — Нейтральная формулировка, скрадывающая отношение Шпета к идеям Гегеля.

* Эта ситуация, характерная для сталинской эпохи, наложила свою печать и на последующие годы. О положении дел в художественной литературе см.: В. Каверин. Литератор. — М., 1988. — С. 104—105, 141—143 и др.

** Я приношу благодарность Г. В. Вальтеру, любезно предоставившему мне распоряжение оригинальный вариант статьи.

*** См.: «Гранат»: Энциклопедический словарь / 7-е изд. Т. 50. — М.—Л., 1932. — Стлб. 378—380.

2. У Шпета сказано: «Гуссерль своим понятием «идеации» возвращает нас к принципиальному преодолению дилеммы». Редактор замсняет это суждение другим: «Правильное решение проблемы, по мнению Ш<пета>, указал Гуссерль (см. феноменология), введя понятие «идеации» (стлб. 379). Но у Шпета нет оценочного слова «правильное» и нет указания на феноменологию. Редактор выдает собственную оценку и произвольное дополнение за «мнение Шпета».

3. Г. Шпет прямо пишет, что он «видит опасность натурализма в утверждении Гуссерлем первичной данности за перцептивностью и опасность трансцендентализма в утверждении «чистого Я» как единства сознания». Что же делает редактор? Он выбирает эту критику в адрес Гуссерля и дает весьма обтекаемую формулировку: «Шпет старается избежать скрытых здесь (?) опасностей натурализма, метафизики и трансцендентализма» (стлб. 379).

4. Дальнейшие сокращения и поправки также нельзя считать удачными и оправданными. В частности, выброшено небольшое, по принципиально важное суждение, из которого (в контексте дальнейших высказываний) видна неприемлемость для Шпета как традиционной формальной логики, так и равным образом интуитивизма Бергсона. А ведь Шпет постоянно зачисляли потом в разряд «интуитивистов». И это несмотря на его кардинальное положение о необходимости диалектической интерпретации слова-понятия!

Но главное то, что Шпет, вопреки его собственным заявлениям, превращается в правоверного «гуссерлианца». Редактор «делает» из него философа на свой манер и тем самым создает прецедент для написания фиктивной истории философии. Итак, мы обнаружили один из основных «источников», питающих распространённые суждения и «заключения» о так называемом «гуссерлианстве» Шпета.

Разумеется, установить подлинное отношение Г. Г. Шпета к западной философской традиции, от Платона до Гегеля и Гумбольта включительно, не значит завершить его философский портрет. Шпет мыслил и творил в контексте развития русской философии, считая себя наследником идей П. Д. Юркевича, Вл. Соловьева, С. Н. Трубецкого, Л. М. Лопатина. Именно здесь надо искать ключ к пониманию его собственного философского наследия, но ни в коем случае опять-таки не причислять его к тому или иному философскому «ведомству». Однако — это уже особая и специальная тема.

ПИСЬМА ИЗ ССЫЛКИ

Интерес к педагогике как к одной из важных глав общей философии всегда был свойствен Г. Г. Шпету. В свой первый московский период (1907—1911 гг.), как раз тогда, когда он много занимался преподаванием, Шпет интересовался историей педагогики, подбирая литературу и, видимо, собирался заняться ею всерьез. Но этим планам не суждено было осуществиться. Он поехал в Геттинген и через несколько лет защитил диссертацию «История как проблема логики».

У Шпета было пятеро детей, и их воспитанием он всегда занимался неукоснительно. Он следил за их занятиями, пытался направлять их интересы, дарил им те книги, которые он хотел, чтобы они прочитали и полюбили. Но всю жизнь Густав Густавович очень много и напряженно работал. Вероятно, именно по этой причине у него — при большой любви и уважении с обеих сторон — никогда не складывались простые и доверительные отношения с детьми. Это его огорчало, особенно, когда дети подросли и могли стать настоящими друзьями и собеседниками. Он скрывал это за легким подтруниванием, слегка насмешливым обращением, шуткой, но при всем том Г. Г. оставался, в сущности, очень строгим и требовательным к детям.

Однако после ареста и ссылки все изменилось. С одной стороны, нашлось время для более простых и близких отношений с детьми, а с другой — все невероятно затруднилось разлукой и сознанием собственной беспомощности, ожиданием, напротив, помощи и каких-то жертв со стороны детей, которые, бросая собственные заботы, приезжали — надо сказать с исключительной готовностью — жить с отцом в Енисейск или Томск.

Нотки нескрываемой нежности, сердечности, которые все время звучат в письмах Густава Густавовича к родным и друзьям уже из Енисейска, видимо, и для него самого были новостью и откровением. Привыкший к строгому рациональному и дидактическому душевному укладу, он вдруг оценил безмерное значение простых сердечных отношений — дружбы, любви, складывающихся вне рассуждений и диалектической рациональности.

Два публикуемых письма — к сыну и дочери, как нарочно, относятся к двум хрестоматийным, почти неизбежным для всякого подростка и девушки моментам. Шестнадцатилетний Сергей бросает школу за год до окончания, хочет идти «непроторенным путем», остро переживает «непонимание» в семье и, кажется, даже готов с ней расстаться. Девятнадцатилетняя Марина только что пережила разочарование первой серьезной влюбленности, и ей «жить не хочется» и все кажется «бессмыслицей». Ни упреков, ни нравочений мы в письмах не найдем. Но уверенной рукой, рукой хирурга, не боящегося того, что он заведомо причинит боль, Г. Г. Шпет разрушает ложные конструкции, ложные представления детей.

Я не стану пересказывать вам эти письма — они перед вами.

М. К. Поливанов

Томск, Колпашевский пер., 9, кв. 2.
936 XI 21

Дорогой мой Сережа, две недели прособирался я с ответом тебе, и до известной степени пристыжен, получив от тебя еще письмо!... Внешняя причина моей медлительности — педантизм, который я завел в работе: не братья

за другие дела, пока не выполню «урок»; но важнее — **внутреннее**: я выполнил урок так поздно, что не мог добраться до других дел, потому что поздно принимался за работу, долго «раскачивался», а это происходило из-за того, что плохо себя чувствовал по утрам.

Я думаю, ты правильно подметил, что настроения, которые тобою овладевают по временам, а порою и тяготят тебя, настроения «возраста», — того возраста, когда человек настолько возмужал, что чувствует в себе достаточно сил стать на ноги и идти самостоятельным путем, но еще не с достаточной ясностью видит перед собою свой путь. Но, понятно, к этому примешиваются и индивидуальные особенности: влияющие ближайшей среды, от которой предстоит, как от берега, оттолкнуться, — и вопрос: покидает данный человек «край чужой» или «берег отчизны»? Затем, конечно, духовный и душевный склад и характер: ты очень самолюбив, чувствителен и пылок, — под влиянием этих душевных движений готов порвать с нами и уйти, но также по существу — мягок, нежен (по-мужски, конечно, не по-бабьи), привязчив и достаточно чуток, чтобы распознать подлинную исключительную любовь к тебе всей семьи (**всей**, то есть, включая Нору и Марго*, в нежно-любовном отношении которых к тебе я убедился из разговоров с ними), — порвать, значит много потерять, а приобрести?... Нас (мужчин) легче вырывает **новая**, чисто мужская любовь, но она — далеко не всегда «разрыв» с семьей, ибо «разрыв» — разрушение и ущерб, а «новая любовь» нормально — рост и развитие той же семьи. Наконец, в твоих настроениях известную роль играет и то, что ты ушел из школы: твой внутренний «раскол» начался на несколько месяцев раньше «нормы». В школе меньше думается о «дальнейшем», потому что есть близкая цель — кончить ее. Правда, эта цель у тебя есть и теперь, но в школе она кажется более самодовлеющей, а теперь — как будто уже «начало» чего-то другого; там как-то откладываем решительные вопросы: кончу, мол, подумаю, а здесь они сами лезут в голову; кроме того, ты слышишь какие-то суждения и мнения, сравниваешь, противопоставляешь, а здесь и «да» и «нет» приходится одному и самому воображать и отражать. Не в этом ли также источник твоей остро почувствованной потребности в друзьях, и в особенности в твердом, надежном, интимном друге? Впрочем и другие причины должны влечь тебя в эту сторону, и потому эту тему я пока отложу.

Возвращаясь к семье. Ты слишком общо написал о своих настроениях, чтобы и я мог сказать тебе что-либо конкретное. Да о таких вещах — легче говорить, когда можно быть достаточно пространным. Ограничусь одним общим замечанием, а об остальном поговорим, если хочешь, когда увидимся. Мне не ясно, что значит «внешний» разрыв с семьей; по-моему, может быть только **«внутренний»**, и это — единственно существующее; ибо, если внутренний — налицо, то не все ли равно, продолжает человек жить с семьей под одной кровлей или уходит? Поэтому, может быть только **выраженный** или **невывраженный** разрыв, а по существу он — внутренний. С другой стороны, «внешний» в смысле «ухода», как я уже наметнул, не есть «разрыв», то есть разрушение, а может быть естественным ростом той же семьи. Если хочешь, например, Нора и Марго стали со мною ближе, когда обзавелись собственными семьями. И это — **нормально**. Подробнее войду в это, когда ты захочешь поделиться со мною более конкретным материалом из своих дум.

Против мысли Маяковского: «Где, когда» и т. д. не стоило бы возражать, поскольку это «стихи», то есть вроде поэзии; но так как Маяковский в гораздо большей степени моралист, чем поэт, то возражать можно было бы, и даже очень. И дело не в том, что Маяковский **фактически** неправ, а дело — в соображениях другого рода. Одно — **психологическое**. Оно иллюстрируется анекдотом из древнего мира. Какой-то гражданин с восторгом читал на монументе, воздвигнутом в честь какого-то божества, имена моряков, молившихся этому божеству о спасении от кораблекрушения и им спасенных. Другой гражданин по этому поводу заметил, что если бы был воздвигнут такой же монумент от молившихся и не спасенных, там имен было бы **больше**. Счел ли Маяковский тех, которые выбрали путь не «протоптантый» и ока-

* Взрослые дочери Г. Г. Шпета от первого брака.

зались не «великими», а ничтожными? А сам Маяковский? В своем сознании, по крайней мере, он шел путем не «протоптаным», но сделал ли его именно его **путь** (в особенности до революции) «великим»? Нет, — он был только смешон в своей пресловутой «желтой куртке». А когда он, наконец, нашел свой настоящий путь (в революции), он оказался надломлен и нежизнеспособен, — подвернувшаяся девчонка — только повод, а не причина его выстрела себе в грудь. Второе соображение — **логическое**. Тут, прежде всего, круг: путь «великого» — всегда путь «непротоптаный», и причина — в «великости» человека, а не в пути; поэтому нет обратного движения в этом круге: великие идут непротоптаным путем, но это не значит, что те велики, которые ходят непротоптанymi путями! Так, все Иваны — люди, но это не значит, что все люди — Иваны. Третье соображение — принципиальное. Хотим мы или нет, но до поры до времени мы все идем путем протоптаным: от груди матери и до... вот, до какого момента? Давно замечено, что легче всего сокрушаются всякие теории, школы и академии людьми в 15 лет, когда голое «не» кажется самым убедительным аргументом, ибо до тех пор все встречалось бессознательным «да». Но и «не» — не есть еще «сознание», а только проблеск его; и оно легко произносится, потому что кажется разрушительным, а ни умения, ни обязательства строить у 15-летних нет. С каждым годом затем это «не» произносится все с большим трудом, но труднее всего его произнести, когда школа, академия пройдены. Вот тут только подлинно великие произносят свое «не» и начинают свой непротоптаный путь. Так шли Коперники, Декарты, Шекспиров, Пушкины, Канты, Гегели, Марксы! Легко вырвать из книги заглавный лист и изорвать его в клочки, но трудно это сделать с книгой, и тем труднее, чем она — объемистее! Но это все же легкий физический труд по сравнению с духовным: **одолеть** эту книгу, чтобы ее **преодолеть**; усвоить ее «да», затем только сказать против него «не», и тогда создать свое «ДА», которое стало бы на место первого «да», — вот путь «великих», и вплоть до «ДА» большими буквами — путь, все протоптаный.

Очень радостно, что заключительное обещание этого письма: «Теперь буду чаще писать», — ты выполнил! Также радостно, что и по твоим словам, и мама пишет, ты здорово взялся за работу. Я и раньше был убежден, что ты **можешь** справиться, а теперь уверен, что ты и **действительно** справишься. Считай только месяцы, а там — и освобождение! — Для меня тем более радостное, что это обещает мне и свидание с тобой. Как о многом теперь хочется поговорить! В том числе и о том, куда тебе поступать. Сейчас не углубляйся в это, поговорим подробно летом; но всякие внешние сведения собери. Вот не думал, что математика тебе не по душе, а мне она нравится своей пустотой: **вроде** как подумал (вроде», потому что настоящей **содержательной** мысли в ней нет), сообразил, и теория, да и вся наука эта — в кармане!*

Строки: «С каждым днем все рушатся надежды»... мне неизвестно, по готов за ними почувствовать автора, хотя и неопытного, но мне близкого и дорогого... Так ли?

О поэтах еще поговорим. Не пойму только, чем пленял тебя Минский? Ведь это так: вроде — сукно, а вроде — кочма... Блок пройдет, кроме каких-нибудь 5—10 стихотворений, которые останутся. А из Шершеневича, увы, ничего не вышло.

Ну, надо кончать; у меня уже около 4 часов, а у тебя — около 12!

Брать работу из-за 30 р. не стоит; да и пока ты готовишься, ничем отвлекаться нельзя. Я понимаю, что тебе может быть неприятно обращаться с денежной просьбой ко мне или к маме, но другое дело, если я сам тебе предложу, и в особенности, если добавлю, что с моей стороны — просто досадный

* Мне кажется, что Г. Г. Шпет здесь «покривил душой», чтобы найти общий язык с сыном. Он любил математику. Первоначально он поступал на математический факультет, а не на филологический. В его записной книжке есть запись от 1931 г.: «Совсем отказался от своих занятий по теории рядов. А там много незавершенного. Должно быть опять боюсь увлечься и отвлечься от обязательной работы (переводов)». В 1935 г. в ссылке в Енисейске он возобновил свои изыскания как раз по теории рядов.

промах, что я тебе не предложил этого летом. А если тебе неприятно просто «брать», давай играть, как в Англии, где считается, что деньги, затраченные на воспитание детей, даются им в долг, который они выплачивают по мере возможности старикам, когда сами становятся на ноги. Бери, пока у меня есть, тем более, что и немного нужно тебе; потом когда-нибудь отдашь, когда у меня не будет. Я напишу маме, чтобы давала тебе помесечно с 1 декабря.

Пиши почаще, мой любимый. Крепко обнимаю тебя.

Твой отец

Томск, Колпашевский пер., 9, кв. 2.
1936 XI 27

Итак, моя Маринаша, через три дня я мог бы праздновать месяц со дня получения твоего письма!... Чтобы избежать такого торжества, принимаюсь сегодня, хотя времени у меня всего 20 минут, — но надо хотя бы начать. Я много уже сочинил тебе писем мысленно: они были разные, но начинались неизменно: первый раз ты, Маринаша, со мною заговорила, а потому... но теперь, через месяц, это «потому» уже неуместно, хотя соответствующие лирические чувства во мне живут. Итак, к делу.

Ты попала, можно сказать, в самую середину диалектической сети: «житейская мудрость — собственный опыт!» Как прийти к общему, не имея своего индивидуального? И как осуществить свое индивидуальное, не нарушая общего? Кто же не прошел через эти вопросы? Если житейская мудрость есть накопленный годами опыт, то как же ее приобрести, не делая собственных опытов? И просто, конкретно, по обывательски, — какая юность не задавала старости своего вопроса: «А вы не делали тех же глупостей»? Хотя ответ: «Делали», — ровно ничего не значит; а «не делали» — значит только, что и судить не можете, раз не делали!... И т. д. И все это — правда. Но ложь, будто «глупости» делаются для приобретения опыта и будто эта мнимая цель их может оправдать; и такая же ложь, будто сделанная «глупость» лишила человека чего-то такого, без чего он и жить дальше не может, и будто она навеки в чем-то связала его и какие-то пути ему заказала.

Вот почему, Маринаша моя, и твои слова: «Даже жить не хочется и все кажется не то бессмыслицей, не то игрушкой», — тоже **ложь!** Не ложь, к сожалению, но **душевное состояние** взбалаченности и «самостояния», которое вызывает такие мысли и слова, но ложь — содержание и смысл этих мыслей и слов. Так как именно это душевное состояние окрашивает и своей краской густо покрывает все мысли и мыслью, то трудно об этом говорить, — чтобы не получилось голое «рассуждение», — иначе, как взявшись за руки и заглядывая в лицо, потому что взгляд тут часто весит больше всей Британской энциклопедии, а пожатие руки говорит больше, чем могли сказать до сих пор все моралисты всего света, начиная от Фалеса и Пифагора до наших сложных дней!

Но когда так поговорим и поговорим ли так когда-нибудь, неизвестно! А если все-таки «рассуждения» без такого магнетизма чувства чего-нибудь стоят, то об одной стороне я скажу несколько слов.

30/XI. Ну, так вот, — прямо к центру вопроса: «бессмыслицей или игрушкой» нам кажется «все», пока мы в этом «всем» не нашли **своего** места. Прежде всего — ложь, будто в этом всеобъемлющем «всем» кому-то нет места; думать, что именно для «меня» его нет, могут только натуры ничтожные, но претенциозные, не довольствующиеся скромным местом, потому что воображают, будто призваны к великому. «Место» надо искать по своим способностям, данным, склонностям, — и оно уготовано для каждого. Но чтобы найти свое место, надо знать **цель** и **видеть** путь, хотя бы его начало. И вот вторая ложь: многие воображают, будто эта цель — **счастье**, — почти всегда сознательно или бессознательно, к тому же эта «цель» сжимается в комочек, в атом, так что получается даже комически, когда во всеобъемлющем «всём» звучит тонким голоском формула

цели: «мое счастье!»... И так как невольно каждый чувствует, что произносит ложь, ибо, суживая на словах до атома свою цель: до «моего», он в то же время само «счастье» воображает чем-то необыкновенно огромным, таким огромным, что если бы удалось его «объять», то это «мое», «я» растянулось бы, как если бы кто-нибудь задумал втиснуть землю в волейбольный мяч!... И вот оговорка: «хотя бы на миг!» И из-за этого «мига» готовы совершить любое безрассудство, воображая, что идут на подвиг или, по крайней мере, осуществляют вольный порыв свободной души, «большой» любви, широкой природы, — и как там еще в таких случаях выражаются! Но подлинная ложь — не в определении степени доступного нам счастья, а в самом определении цели. Счастье (как и наслаждение), если под ним разуметь не просто «удачу», «случай», — кои, по существу, не могут быть целью, — а **чувство**, то, каким бы ни казалось оно сложным по составу, интенсивным по силе, бесконечным по широте, поглощающим по качеству, — все равно, оно, как и самое малое чувство, не есть нечто самодовлеющее и самостоятельное. Оно есть только переживание, **сопровожающее** то, что действительно самостоятельно. Поэтому, оно может сопровождать достижение цели, осуществление замысла, воплощение мысли в жизнь, в дело, но не может быть целью, замыслом, мыслью, делом. Найди достойную цель, и счастье откроется еще раньше, чем она будет осуществлена, — по пути к ней. Но вот цели-то и нет!... Будто?... Если это и не ложь, то — **самообман**; а если самообман, то тут уже указан и источник: в «самообмане» человек не только обманывает себя, но, главное, сам обманывает, и обманывает потому, что вертится в своем «сам», как в заколдованном круге, и вырваться из него не хочет. Он поставил себя **самого** в центр и обводит около этого центра круг за кругом: я сам, самое мое близкое, просто мое, просто близкое, безразличное, далекое и т. д.!* Это и есть эгоцентризм! Стоит «я» **само** в центре им же **самим** обведенных вокруг себя **самого** кругов, и — ничего, кроме себя **самого**, не видит, — ясно, что «цели» нет, и не найти, и смысла нет ни в чем, и все пути заказаны... — одно неподвижное созерцание самого себя! Но оторвись от созерцания собственного «я», подними голову, и оглянись вокруг: во все стороны, во всех направлениях, к миллионам** целей идут люди, такие же ценные, такие же достойные, как и твое собственное «я»; и несут к своим целям свой труд, творчество, любовь, а вместе волокут и горе, нужду, свои слабости; падают и поднимаются; страдают и радуются.

Глядя на себя, себя и вводишь в обман; жизнь и смысл — не в тебе, а вокруг. Если заблудилась в себе, вырвись в настоящую жизнь, присмотришься вместо **себя** к другим, и если **не сразу** увидишь свою цель, то и то — утешение, что узнаешь цели других, а вместе узнаешь, что и они, может быть, не сразу находили свои цели и тоже мучались этим, пока не оторвались от самосозерцания; убедись в их горестях и радостях, и еще в том, что твое участие в их горе, им облегчение, а участие в их радости — им увеличение радости... И ощутишь, наверное, и свою жизнеспособность, и силы, и **нужность другим**, и радость, — и кто знает? — может быть, как подарок, испытаешь настоящее человеческое счастье, — и как рукой снимет «даже жить не хочется»... До чего же мы забываем, что живет не «я», а «мы», что вне этого «мы» одно «я» — не жизнь, а пустота; но попробуй зато вырвать это свое «я» из «мы», и в самом «мы» образуется незаполненная навеки брешь, **своему** «мы» нанесется забываемая, неисцелимая рана. — Горе па всю жизнь этому ущербному, надломленному, осиротевшему «мы». Я знаю, что **против воли** человека иногда приходят мысли о «жить не хочется», о самоубийстве и т. п. Но знаю и то, что эти мысли не могут продержаться более 5 минут, потому что на это время человек забывает тех, кто его любит, и не рисует себе образа тех, кто его любит. Мысли лезут **против воли**, потому что воля не оказывает им сопротивления: но если она слаба или временно ослабела, то надо звать па помощь память и воображение. И достаточно, думаю, вызвать живой образ **любящего** тебя человека: матери, брата, сына, друга, и только представить себе, как искажается горем и болью это **любящее** лицо **при одной мысли**, что эта любимая дочь, сестра, друг, терзается этим «жить не хочется», — достаточно, говорить, вызвать в своем воображении эти картины, чтобы воля оказалась способной

* В оригинале это изображено чертежом.

** Г. Г. Шпет не признавал удвоенных согласных в корнях слов, в иностранных именах, поэтому: «миллион», «Дикенс» и пр.

к сопротивлению, чтобы вспыхнули другие чувства и появились другие мысли, среди коих и мысли о том, что «всё» — не «бессмыслица» и не «игрушка».

Но довольно об этом; столько не собирался писать, хотел сказать несколько слов, ибо все-таки без «руки» и «глаз» это полностью не «дойдет», и не потому, что не все сказано, — тут можно говорить, ой как долго, — а потому, что... и говорить-то это надо без «потому что»! Но не сердись на столько морали: во-первых, как тебе известно (не знаю, откуда?), старики болтливы; во-вторых, как значится на первой страничке, мы «говорим» с тобою впервые, а, как известно, в третьих (спроси у бабушки), все начинающие и неопытные ораторы хотят сразу рассказать все, что знают...

1/XII (сквозь тайгу смотрит на нас этот месяц!)*.

Насчет Л.** — ты права: не говорили мы, когда это было в настоящем (и казалось настоящим), не стоит говорить, когда оно хотя и в прошлом, но таком свежем прошлом, что от прикосновения к нему могут остаться следы, которые не исчезнут и тогда, когда оно «затвердеет». Если это была ошибка, она уже преодолена; если это — твоя натура, взнуздай ее. В вольном табуне мы выбираем самого дикого скакуна, но только потому, что на нем хорошо носиться, когда он будет взнуздан и оседлан.

Ты упоминаешь, что «виновата» передо мною и мамой «без конца». Что ты имеешь в виду, Маринаша? Я вижу твою вину, — хотя это — больше ошибка, чем вина, — передо мною только в том, что ты было окружила себя некоторым туманом скрывания, утайки, маскировки и, значит, лжи. Но от этого страдала и ты, ибо за этим туманом мне казалось не все таким «светлым» и чистым, как хотелось бы видеть у тебя, и, быть может, ты не встречала иной раз себе отклика с моей стороны там, где он должен был быть и был бы сочувственным. Если здесь есть «вина», то и она искуплена тем, что, несмотря на сердечную тягу к другому месту, ты оставалась возле меня в целом бодрой, жизнеспособной, деятельной помощницей и другом***. Так что, взвесив даже на аптекарских весах, получится больше того, за что надо благодарить и любить тебя, чем того, за что можно было бы «винить» или что можно было бы прощать. Не рассуждениями, а на деле ты показала, что твой «эгоцентризм» — преходящее состояние, а не характер твой.

Итак, Магит**** оказался скорее магнетическим, чем магическим, и выронил «наш» («н») в своей фамилии, должно быть, из скромности! Но мне он таинствен по-прежнему. Физики только хвастаются, будто у них все яснее и известнее, чем у нас: магнит — куда таинственнее, например, такой простой вещи, как «влечение», если только «намагнитить» не значит то же самое, что «увлечь»...

Что тебе полюбилась Софокл, Еврипид и пр., меня радует, как наилучший подарок! Если ты войдешь в них как следует, заживешь новой жизнью, и настоящей, — не «медным блеском». Они — всегда возрожденные души! Вероятно, ты и сама уже выискала, что могла у меня по-русски найти об античности. Если же нет, то посмотри на № 12, вторая полка к концу, — все, что есть Зелинского («Из мира идей» и др.); затем на № 11 посмотри 2-ю и 3-ю полки, там есть полезные сборные работы (Вельгаузен и др.) «Элинская культура» и «Эллинистическая», а также, что есть Буасье, и его же поищи на № 8 — там было кое-что по-русски. Есть (или было!) на № 11 же две превосходные книги по-английски — о Греции и о Риме, — Stabhorn'a, — хотя бы посмотри их, там много иллюстраций (но эти книги страшно береги и даже не показывай никому)*****. Если заинтересуешься чем-нибудь специально, пиши; и впечатления пиши.

* В декабре месяце 1935 г. Г. Г. Шпет получил разрешение сменить место ссылки на город Томск. Путь из Енисейска до Красноярска он с дочерьми Леной и Мариной шал зимой на лошадях — «перекладных».

** Л. — жених Марины.

*** Марина предполагала присхать в Енисейск к отцу ненадолго, чтобы вскорее уехать и выйти замуж за Л., но осталась с отцом на всю зиму и замуж не вышла.

**** Магит А. С. подружился с семьей Шпета, когда Густав Густавович и Марина находились в Сибири.

***** № 12, 11 и др. — номера книжных шкафов в московской библиотеке Г. Г. Шпета. Его жена и Марина составляли описание библиотеки и пересылали его в Томск.

Насчет перемены, как у нас выражаются, специальности надо бы подробно и толково поговорить, а так — трудно. Но что бы ни было, английский останется тебе «приобретением навеки» (так выражались греки).

Что же ты мне не написала, как прошло 12/XI*, как мамуля осталась довольна, какая она была? И что я вам должен?

Пиши, Маринаша, хорошая моя! Это письмо мне много приятного принесло, я почувствовал тебя **живую!**

А тут — все так же, но без тебя — не так же! ...

Крепко, крепко целую ...

Па

Ты начала переписывать «комнатку»** и бросила! Забыла или некогда?

Публикация М. Г. Шторх.

* 12 ноября — день свадьбы Г. Г. Шпета с его второй женой, Н. К. Гучковой, который он просил своих детей торжественно отметить.

** «Комнатка» — темный угол в кабинете, отгороженный книжными шкафами.

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР

«ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ СТРУВЕ И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ»

Семинар состоится в Санкт-Петербурге в ноябре 1992 года.

Планируется обсуждение следующих тем:

- 1. Личная и общественная судьба П. Б. Струве.*
- 2. П. Б. Струве как мыслитель и политический деятель.*
- 3. Социология и экономическое учение П. Б. Струве.*
- 4. Наследие П. Б. Струве в контексте проблем современной России.*

Тезисы докладов и выступлений объемом до 5 страниц (через 2 инт. и в 2 экз.) принимаются до 1 сентября 1992 г. Планируется публикация материалов семинара.

Исследовательский центр «Русская социология: теория, история, опыт» при факультете социологии Санкт-Петербургского университета.

Адрес: 193060, С.-Петербург, ул. Смольного 1/3 (9-й подъезд).

Телефоны: 278-51-00; 274-33-30.

Координатор ИЦ Козловский Владимир Вячеславович.

НЕМНОГО ПРОШЛОГО

Перебирая старые бумаги, оставшиеся от сданного в ГБЛ архива моего отца, Г. Г. Шпета, я обнаружила некоторые письма, которые могут быть небезынтесны и современному читателю. Тем более, что эпистолярный жанр сейчас, «благодаря» телефону и телевизору, исчезает из нашей жизни. В данную публикацию включено несколько писем, адресованных Г. Г. Шпету разными лицами. Подбор писем — совершенно случайный, но в совокупности, как мне кажется, они дают некоторое представление о жизни, условиях работы и взаимоотношениях интеллигенции теперь уже таких далеких лет начала века.

С Андреем Белым Г. Г. Шпет был дружен со времени его переезда из Кисва в Москву. Авторы остальных писем не относятся к близким ему людям, но этим, пожалуй, они и интересны. Знакомства у Шпета были самые разнообразные и обширные, но близких друзей насчитывалось не так уж много. Среди них можно назвать Ю. Балтрушайтиса, А. Белого, В. Качалова, О. Книппер-Чехову, А. Таирова с А. Коолен, некоторых из его учеников и др. Встречались они в веселых компаниях и наедине — с серьезными разговорами, бурными спорами, главным образом об искусстве и науке. Никогда я не слышала разговоров на политические или религиозные темы. Вообще Шпет предпочитал «богемную» среду академической, считая первую менее консервативной (это — слова отца). С негерпимостью относился он к дилетантизму и полужнаниям, но с уважением — к «простым», ни на что не претендующим людям: швейцару, дворнику и т. д. Впечатления и воспоминания мои относятся к периоду детства, так что рассказать об этом более серьезно и глубоко я не могу, но людей, окружавших отца, помню хорошо. Что же касается публикуемых писем, то кое-что я должна пояснить.

Начну с отношений отца с Николаем Николаевичем Лузиным, известным математиком. Следует отметить, что обращение его в письме к Шпету как к Густаву Ивановичу (вместо Густавовича) не случайно и не по незнанию. По крещению Шпет был лютеранином и, соответственно, имел не одно имя, так же как и отчество. В дальнейшем он окончательно остановился на «Густавовиче», одновременно отбросив второе «т» из своей фамилии. Когда и как познакомились Шпет и Лузин, я не знаю, скорее всего — в университете. Знаю только, что в 1919—1920 гг. они ездили в Ярославский университет читать лекции. Лузин интересовался философией и много занимался ею. В 1928 г. Лузин и Шпет ллотировались в действительные члены Академии наук. Лузин прошел, но на вакантное место по философии, а отец нет. В то время он уже был не в фаворе.

Зимой 1935 г. отец был арестован и выслан в Сибирь. Я в этот год окончила школу и собиралась поступать в университет на математический факультет. Уже из ссылки отец просил свою старшую дочь обратиться за помощью к Лузину, так как понимал, что для моего поступления могут быть серьезные препятствия. Лузин только спросил сестру, считает ли отец меня способной. Получив положительный ответ, он вскоре написал два письма (директору и декану) с просьбой помочь в данном затруднительном случае. Письма были составлены в таком хвалебном тоне моим способностям, что воспользоваться ими я не посмела. По моим же документам я даже не была допущена до экзаменов. (Знаменитая фраза Сталина «сын за отца не отвечает» была произнесена позднее.) После этого Лузин несколько раз предлагал заниматься со мной математикой, но я уехала в Енисейск и жила там с отцом. Примечательно то, что Н. Н. Лузин и туда присылал мне свои книги. Наряду с другими именитыми друзьями отца Лузин подписал ходатайство о пересмотре дела Шпета и о переводе его из глуши в какой-нибудь большой город. Через некоторое время отцу было разрешено отбывать ссылку в Томске.

С киевлянином Д. Заславским, впоследствии известным советским публицистом, Шпет учился в одной гимназии. Хочется только отметить, что в дальней-

шем (в 1929 г.), когда начались гонения на ГАХН, где Густав Густавович был вице-президентом, Заславский переменял свое отношение к Шпету, зато всегда «шел в ногу со своим временем». И если он помнил о публикуемом ниже письме Шпету, то, вероятно, сожалел о его написании.

Знакомство Г. Г. Шпета с **Федором Федоровичем Березжковым** (1888—1943) относится к московскому периоду. По-видимому, их объединял Г. И. Челпанов, так как оба они были его любимыми учениками, но в разные периоды. Березжков кончил Московский университет в 1913 г. и был оставлен на кафедре. Он читал логику, философию, психологию в университете и гимназиях; сотрудничал в ГАХНе, много занимался Ф. М. Достоевским (выпустил в 1928 г. в ГАХНе монографию). После ликвидации ГАХНа Березжков занимался только преподаванием литературы в школах. Со слов его учеников (например, артиста Р. Плятта и некоторых моих личных знакомых), я знаю, что он был ими любим и уважаем.

Отношения Г. Г. Шпета с **Леонидом Петровичем Гроссманом** (1888—1965), литературоведом и историком русской литературы, были всегда корректны и доброжелательны. Они вместе сотрудничали в ГАХНе и Институте литературы имени В. Брюсова.

ПИСЬМА К Г. Г. ШПЕТУ

Москва, 15. 10. 16 г.

Дорогой Густав,

Я не сообразил, что мы не увидимся до воскресенья, а потому и не уведомил тебя, что в воскресенье я читаю свою повесть «**Котик Летаев**» у Григоровых (Кудринская Садовая, д. 6, кв. 2) в 8¹/₂ час. Я не приглашаю Тебя, ибо полагаю, что выслушивать чужое чтение тяжело; но меня именно просили (Гершензон и кое-кто другой); поэтому я подчиняюсь просьбе и читаю. Если в воскресенье вечером Ты свободен и вдруг захочешь быть на чтении, я, разумеется, был бы рад... Будут: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Л. И. Шестов и кое-кто еще.

Очень хотелось бы повидаться; надеюсь, — в конце той недели...

Остаюсь искренне преданный

Борис Бугаев.

(Открытка с видом Спасской башни Кремля, штемпель от 10. 12. 16 г. Сергиевск. Посад)

Дорогой Густав Густавович, я буду у Тебя на днях вечером, но в понедельник не буду: ужасно устал от Москвы, и лишний рабочий день в Посаде страшно укрепляет. Решил остаться до среды. В среду, четверг или пятницу буду у тебя. Если не застану, опять зайду. Ужасно извиняюсь. Остаюсь искренне Тебя любящий

Б. Бугаев.

Дорогой Густав Густавович,

давно собираюсь Тебя разыскать, — не потому только, что хотелось бы встретиться и побеседовать (что само собой), а потому, что надеюсь получить от Тебя совет; и даже, может быть, кое в чем помощь, — не мне, а моему другу А. С. Петровскому*.

Вот в чем дело: он отбывает в Конце**; и срок ему сокращают как ударнику (геологическая разведка при прорывании Канала, соединяющего Белое море с Балтийским). Через 1—1½ месяца он будет свободен. Невский (его начальник), конечно, вернул бы его в Ленинский музей, считая его незаменимым работником (ведь он там служил более 25 лет), но на встречу — паспортизация, и, стало быть, в Москве ему не быть (вероятно, — «минус 12»). Ввиду того, что он дружен очень с сестрой моей жены, живущей очень одиноко в Лебедяни (она — больна, одна), он в случае невозможности удержаться в Москве мог бы жить в Лебедяни, если бы нашел себе перевод; переводчик он незаменимый, — тонкий стилист (со вкусом); некогда у нас в «Мусагете» он редактировал все переводы (и в том числе Рачинского*** — всегда); лучшего переводчика трудно себе представить. Знает он в совершенстве немецкий, но и редактировал французские переводы (и, разумеется, мог бы переводить и с французского).

Вот уже около месяца, как я справляюсь всюду, ища ему переводы: говорил с Цявловским, Воронским, Эфросом; и мне сказали, что можно обратиться к Тебе, ибо Ты в прямом контакте с «Academia». Вот я и обращаюсь к Тебе с огромной просьбой: по возможности помочь А. С. Петровскому в этом деле; этим Ты поможешь и моему семейству, ибо дал бы возможность послать А. С. в Лебедянь, куда его тянет.

Мы с женой вынужденно прикованы к Москве и не можем жить около сестры жены, для которой эпоха с сентября до мая — жуткая (одна, больная, без знакомых и помощи); при ней должен кто-нибудь быть. И А. С. согласен туда ехать, но при условии, что сможет там работать (по переводам); там — дыра, и вряд ли ему удастся вне переводов найти работу. Главное — он переводчик **незаменимый**.

Как хотелось бы с Тобой встретиться! Но я болею (за зиму 5 гриппов, и сейчас сижу еще). Скоро будет телефон Лидину: хочу к нему выбраться. Не встретиться ли у него?

Буду ждать ответа в два слова; как с Тобой встретиться? Сейчас я стараюсь вечером никуда не выходить (застарелый сухой катар горла, — источник простуд; еду в мае в Коктебель долечиться).

Остаюсь искренне любящий

Борис Бугаев.

P. S. Мой адрес: Москва 121, Плушыха, д. 53, кв. 1 (телефона, увы, нет).
P. S. А. С. перевел Беме и Шеллинга (для Пути), но перевод не вышел.

Дорогой Густав Густавович,

жена уже известила Тебя о том, какие продукты мы должны Тебе: ибо мы пользовались ими еще до момента, когда узнали о том, что наша книжка поступила

* А. С. Петровский (1881—1958) — переводчик, сотрудник Румянцевского музея, ближайший друг А. Белого. В 1914 г. в издательстве «Мусагет» в переводе Петровского вышла книга Я. Беме «Аугога, или Утренняя заря в восхождении».

** В «Конце», т. е. в концлагере.

*** Г. А. Рачинский (1859—1939) — литератор, переводчик, философ; председатель Религиозно-философского общества в Москве.

Тебе, и, стало быть, продукты мы с точностью готовы Тебе возместить*. Ввиду моей болезни, случившейся в Коктебеле (отравление солнцем), я должен прятаться от солнца. Но это лишь повод к тому, чтобы сердечно просить Тебя посетить нас с женой, провести вечерок вместе; о дне легко сговориться (это зависит от Тебя). П. Н. Зайцев будет с Тобой говорить по телефону и меня известит о дне, выбранном Тобой.

Милый Густав Густавович, приходи к нам; кстати, у меня для Тебя — книги, Тебе приготовленные (роман «Маски» и повесть «Крещеный китаец»). Это — один из предлогов Тебя залучить к себе; продукты для Тебя готовы; я сам бы их Тебе завез, но в настоящие дни я избегаю солнца и сижу дома.

Передай привет твоей жене и дочке, если они вернулись из Коктебеля, где жили почти рядом и постоянно общались.

Остаюсь искренне преданный

Борис Бугаев.

Москва, 33 г. Август 21-го**.

26 янв. 1918 г.

Москва, Арбат, 25, кв. 3

Глубокоуважаемый Густав Иванович,

приношу Вам искреннюю и глубокую благодарность за Ваше внимание и память обо мне и за Ваш ценный подарок — «Мысль и слово». Мне очень жаль, что Вы не застали меня: я лишился интересной беседы.

Получив книгу, тотчас же хотел ответить, но увлекся чтением Вашей основной статьи «Мудрость или разум?», и ответ задержался.

Боясь слишком задержать ответ, я не дочитал пока статьи, так как не хотел ее лишь «проглядывать»; но то, что прочел (48 стр.), мне чрезвычайно понравилось ясностью и точностью мысли. Ваше определение математики как «формальной онтологии» мне кажется вполне точно характеризующим ее, а то, что Вы в статье шаг за шагом, все точнее и точнее указываете на самое существо философии как знания *sui generis*, не могущего быть замененным научной подделкой, — это мне кажется очень ценным для . . . , боюсь сказать: для философов, но, во всяком случае, для нас, исследователей частных истин.

Я не решаюсь в этом случае упоминать о философах потому, что они, без сомнения, слишком живо ощущают предмет философии, как высшую интеллектуальную гармонию, чтобы иметь необходимость говорить о нем, но для нас — это необходимо. Вряд ли для кого-либо секрет, что, будучи углублены в частные области, мы с крайнею неохотою соприкасаемся с философией и стараемся всегда избегать ее: у нас нет того живого чувства, которое бы указывало нам среди бесчисленных философских напастований истинный основной слой. Вот почему, мне кажется, было счастливым возглавить «Ежегодник» этой статьей.

Для меня лично получение «Ежегодника» ценно еще потому, что, ознакомившись с ним, я получу представление о том характере, который должна носить моя статья (если Вы еще не оставили мысли иметь ее) о некоторых общих вопросах математики. Гораздо ведь легче сообразоваться с готовым образцом, чем придумывать его. Так, например, я вижу, что могу предположить у читателя большое общекультурное развитие.

* В те годы в нашей стране существовали продовольственные карточки и некоторые дополнительные пайки, или, по-современному, «привилегии», о которых и идет речь. Но тогда пайки давались не всем членам Союза писателей, а поочередно на определенный срок, хотя членов Союза было во много раз меньше, чем теперь.

** Это письмо хранится в архиве ЦГАЛИ, ф. 53, от. 6, ед. хр. 19; остальные письма (за исключением писем Ф. Бережкова) — из архива семьи Шпет.

Я должен искренне извиниться перед Вами в том, что еще не смог быть у Вас: я собирался к Вам в Новый Год, но в этот же день я упал (собственно, «меня упали») с трамвая и столь сильно повредил руку, что вынужден был улечься, и сейчас еще хожу с повязкой.

Искренне уважающий Вас

Николай Лузин.

Р. С. Интересно, что-то станет с современной культурой вообще? Неужели, война — лишь введение?

18. 12. 22 г.

Милый Густав Густавович!

Прочитал только что «Эстетические фрагменты» и захотелось издали послать тебе привет.

Почему-то из гимназической юности моей ярче всего вспоминаю такой момент: большой двор киевской второй гимназии с редкими пыльными деревьями у каменной стены, за которой женский пансион. Был свободный час, и ты, отдельно от других, читал Достоевского, — аккуратно обернув книгу чистой бумагой. Поразило меня тогда твое лицо (хорошо его вижу сейчас), и шевельнулась мысль, что не такой ты, как все мы, и что можешь ты стать большим и значительным человеком. Кажется, с той минуты я стал побаиваться тебя, хотя всегда и решительно любил.

Память у меня плохая, и многое я забыл, а вот эта картина — двор, книга Достоевского («Братья Карамазовы»?) и необычное выражение лица твоего — запомнилась с отчетливостью яркого фотографического снимка.

«Эстетические фрагменты» — книжка для немногих, — я не в их числе. Пленил меня язык, умное лукавство мысли и властный, здоровый идеализм. Кажется, это именно то, что теперь нужно, и у тебя все данные, чтобы стать властителем дум идущего поколения (хотя бы и меньшинства).

В ранней молодости своей я находился под сильным твоим влиянием. Приятно сознавать теперь, что это было влияние талантливого человека. Жизнь здорово потрепала меня. Ирония и гуманитарный скептизм помогли мне сохраниться, когда мои боги полетели кверху ногами. И если бы я пожелал вылезти из моего любовного скепсиса, то скорее всего — в направлении твоего берега. Так почудилось мне — в настроениях твоей книжки: их мне было легче одолеть и усвоить, чем мысли.

Предвкушаю удовольствие от «Истории русской философии».

Прими письмо сие как искренний привет от старого друга, который далеко не все понимает в твоих книгах, но следит за ними и за тобой с живым и сердечным участием.

Д. Заславский.

Петроград, Заячий пр. 6, кв. 22.

Глубокоуважаемый Густав Густавович!

Только что узнал от Георгия Ивановича* об избрании Вас в факультет в доценты. Приношу Вам свое поздравление и пожелание новых успехов.

Прежде всего желал бы, чтобы Совет университета оказался более объективным в оценке Вас, как писателя и лектора, и чтоб там Вы собрали большее число сторонников.

* Георгий Иванович Челпанов.

Когда Вы преодолете все эти внешние препятствия, пусть исчезнут и внутренние, чтоб интересующиеся философией могли сколько-нибудь по существу оценить Ваши новые и интересные идеи.

Я как человек, порой оправдывающий некоторый эклектизм или, во всяком случае, иначе относящийся к «дуализму», больше всего желал бы, чтоб за Вами пошли не только «афиняне», но и «иерусалимляне».

Теперь Иерусалим взят Западом, но Англия оказалась к нему более милостивой, чем Ваши воззрения. Больше того, она, видимо, находит в нем нечто вечное. И если в «Иерусалиме» оказалось что-то близкое Западу (не только исторически), то как было бы, мне кажется, хорошо, чтоб и в Ваших «Афинах» многое признали абсолютным также и «сыны Иерусалима».

Пусть мощный, глубокий поток идей, что истек из неподвижного древнего Парменида, и куда вошла и Ваша бурлящая струя, пусть он захватит и тех, кто все еще ему противится. Пусть ярко и неотразимо отпечатлется в сознании людей его вечность и абсолютность.

Ваш Ф. Березков.

Москва, 3 декабря 1917 г.

25 (12) января 1919 г.

Глубокоуважаемый Густав Густавович!

Прежде всего поздравляю Вас с «Татьяной»* и желаю всяких успехов на университетском и ученом пути. Не рассчитывая видеть Вас сегодня в университете, письменно прошу Вас быть во вторник 28 (15) января на факультетском заседании в 1 час дня, по возможности без опоздания: будет обсуждаться вопрос о передаче семинария Маркова по философии религии, причем я заявил свою кандидатуру. Поддерживать меня будет и заявление бывших участников этого семинария. Боюсь, без друзей меня опять забаллотируют, как в прошлый вторник, когда за мой курс «Введение в изучение Достоевского» (философские и психологические проблемы его творчества) было подано 8 голосов, а против — 11. Целый ряд лиц (Огнев, Ярхо, Петровский, Почета, Фатов) высказались очень сочувственно, но историки вообще решили дело. Студенты, однако же, здесь, я знаю, подадут бумагу в факультет с просьбой пересмотреть этот вопрос, ибо очень хотят прослушать курс о Достоевском, никогда (позор!) еще не читанный в университете.

Так что и поэтому, жизненно для меня дорогому вопросу прошу, Густав Густавович, Вашей опытной поддержки. Люди просят знания, а его им не дают, даже если есть лектор!

Итак, очень жду Вас во вторник в час дня.

Ваш Ф. Березков**.

29. XI. 1925.

Дорогой Густав Густавович, «увидя почерк мой, Вы верно удивитесь», — как писал когда-то в скверном лирическом фрагменте Апухтин, — даже на расстоянии я не даю Вам покою! Но на этот раз не собираюсь удручать Вас делами Редкома. Мотив настоящего письма своеобразнее. Отъезд дает возможность

* Т. е. с днем открытия Московского университета.

** Письма Ф. Березкова хранятся в архиве Г. Г. Шпета, ОР ГБЛ, ф. 718.

взглянуть свежим взглядом на свою обычную примелькавшуюся жизнь, а отдаление способствует иногда высказыванию того, что при постоянном личном общении остается невысказанным. Есть какая-то странная застенчивость, мешающая говорить в глаза своему ближнему (впрочем, не ближней) теплые и сердечные слова. А между тем именно такие слова мне давно уже хотелось сказать Вам. Мне хотелось бы выразить Вам мою глубокую благодарность за ту интереснейшую работу, которую Вы предоставили мне в Академии, и за тот простор в ней, который Вы так дружески и так широко мне открыли. В организации издательства и в производстве книг — особенно по искусству — столько увлекательного, живого и творческого, что одна возможность такой работы — большое наслаждение. Я прекрасно знаю, что теперь все бивуачно, преходяще и временно, что и эта деятельность промелькнет и скроется, быть может, в ближайшем будущем, но это несколько не ослабляет моего желания сказать Вам, дорогой Густав Густавович, мое самое задушевное спасибо.

Мы увидимся на днях, и я лично передам Вам о моих переговорах с «Academi'ей» и, вероятно, со Шмидтом, которого рассчитываю увидеть сегодня в институте на докладах Жирмунского и Виноградова. Научная работа здесь идет большая, несмотря на то, что внешне Петербург кажется погруженным в дремоту. Я лично зарылся в театральные архивы пушкинского времени и ежедневно от 10 до 5 люблюсь восхитительными тенями Истоминой, Колосовой или Нимфодоры Семеновой, оживающими на старых документах, написанных гусиным пером по мягкому тряпичному верже с большими и торжественными печатями. Занятие совершенно блаженное!

Итак, до скорого свидания! Примите крепкое рукопожатие от Вашего

Л. Гроссмана

31. VII. 1926.

Дорогой Густав Густавович, я давно уже рассчитывал беседовать с Вами лично и непосредственно, но обстоятельства снова вынуждают меня взяться за перо. Разрешите ознакомить Вас с их общей конъюнктурой.

К сожалению, лечение Серафимы Германовны оказалось до сих пор незаконченным. Как обычно при гриппозных пневмониях, бронхит ее держится довольно упорно, осложнившись припадками бронхиальной астмы. Врачи решительно возражают против ее возвращения в Москву до конца лета и настоятельно советуют исползовать до конца крымское солнце. Я находился в большом затруднении перед выполнением этого плана, когда неожиданно «его величество случай» помог мне.

В последнее время в Алупкинском* Дворце-музее устраивались съехавшимся здесь учеными закрытые собеседования на различные темы — по музееведению, пушкинизму и проч. Участвовали в них Б. М. Соколов, И. И. Замотин и другие, присутствовал и Ф. Н. Петров. Это создало некоторую близость к музею, и как раз накануне того дня, когда я собирался брать все же билеты на Москву, директор музея предложил мне в нем некоторую работу за комнату и небольшой оклад. Взвесив все обстоятельства, я не решился отказаться от этого предложения. Разрешите, Густав Густавович, просить от Академии в Вашем лице санкционирования этого шага.

По литературной секции я едва ли буду в августе особенно нужен Академии. Одновременно с этим письмом я пишу и Н. К. Гудзию с просьбой уладить вопрос о замещительстве своем еще на месяц. Но сложнее обстоит дело с Редактомом — и на эту тему позвольте объясниться широко и откровенно.

* На обратной стороне листа приписано: «Отвратительные чернила и бумага заставляют меня писать это письмо с одной стороны листа, как для набора. Не подумайте, что я претендую на его напечатание!»

Я уезжал из Москвы, приняв решение к редакционной работе в Академии не возвращаться. Второпях перед отъездом мне трудно было поговорить с Вами на эту тему, тем более, что до последнего дня мы пребывали в «отставке». Я рассчитывал побеседовать с Вами через месяц — 1½, но ввиду новой отсрочки считаю необходимым сделать это письменно, чтобы не нарушать дальнейшей планировки работ Редкома или его общей структуры.

Принятое мною решение в обстановке спокойного раздумия и отдаления от работы окрепло и установилось окончательно. Проверка его на уясняющем протяжении пространства и времени подтвердила его правильность. Убедившись, что моя редакционно-издательская работа в Академии не встречает одобрения ни в секциях, ни в лоне самого Редкома, я только мог принять то решение, которое принял, и поступить так, как поступаю. На мне и только на мне лежит обязанность точно формулировать создавшееся положение. Я это и делаю.

Прошу верить, что никакие личные побуждения (обиды, уязвленные самолюбия etc, etc) никакой роли в моем решении не играют. Я считаю исключительно с фактическим положением вещей и общими интересами большого и важного дела, для укрепления и развития которого необходимы подчас и персональные перемещения. Вот почему, в частности, я искренне приветствую вхождение в Редком П. Н. Сакулина. Вот почему, уходя из Редкома, я горячо желаю ему широко и ярко развернуть свою работу, которая несомненно является одним из важнейших моментов в деятельности Академии.

Мне уже пришлось как-то благодарить Вас в одном письме за Ваше отношение ко мне в общей работе. Позвольте еще раз повторить Вам, что я сохраняю отраднейшие воспоминания о нашем дружном сотрудничестве в первую пору Редкома.

Итак, дорогой Густав Густавович, деловое резюме моего письма: прошу ввиду изложенного продлить мне отпуск по литературной секции до 1 сентября; прошу оформить мой уход из Редкома. Если б оказалось, что в последние месяцы я неправильно получал свой оклад по Редкому, я это по возвращении, конечно, урегулирую. На август же прошу, по возможности, сохранить за мной оклад лишь по литературной секции.

Как идут Ваши летние работы? Много ли написали? Приготовили ли что-нибудь для печати? Мечтаю по возвращении побеседовать с Вами о русском гелианстве — тема, которая остро вклинивается в одну мою работу. Очень жалею, что Ваш Белинский до сих пор в рукописи. Вот, что мне нужно было бы перечест в первую очередь.

Сам я до сих пор не работал, а только читал. Теперь же считаю свой отдых законченным и приступаю к делу.

Буду ждать Вашего ответа, Густав Густавович. Надеюсь, что мои планы и действия будут Вами одобрены.

Серафима Германовна шлет Вам свой искренний привет, к которому всецело присоединяюсь.

Всего доброго!

Ваш Л. Гроссман.

Алупка, Дворец-музей.

Публикация М. Г. Шторх.

ОБ «ЭСТЕТИЧЕСКИХ ФРАГМЕНТАХ» Г. Г. ШПЕТА*

Публикация этих заметок связана с характерной и удивительной историей. Три выпуска «Эстетических фрагментов» были опубликованы Г. Шпетом в начале нэпа, в 1922 и 1923 гг., в частном издательстве Ф. И. Витязева-Седенко «Колос» тиражом 1200—1500 экземпляров. Вскоре, в 1925 г., тоже в частном издании вышел альманах «Чет и нечет», в котором были помещены коротенькие заметки Г. Винокура об «Эстетических фрагментах». Других отзывов об этой работе я не знаю. И дело, конечно, не в том, что книжки не вызвали интереса, а в том, что нэп, вопреки устойчивому стереотипу, был временем непрекращающихся идеологических репрессий. Достаточно напомнить, что осенью 1921 г. Государственный ученый совет (ГУС) под руководством М. Н. Покровского отстранил от преподавания философов-немарксистов, тем самым прекратив деятельность философских учреждений в стране, а в следующем году состоялась знаменитая ленинская высылка цвета русской интеллигенции.

В 1989 г., находясь в Италии, я торопливо заканчивал очерк биографии Г. Шпета, и мне очень хотелось его кому-нибудь почитать. Я вспомнил, что в Риме в это время должен находиться сын Вячеслава Иванова Дмитрий Вячеславович Иванов. В телефонной книге я нашел имя Венцеслава Иванова (единственный, кстати, Иванов в Риме!) и сговорился с Д. В. о встрече. Вечером мы с ним познакомились в маленьком ресторанчике около форума Траяна и проговорили целый вечер. На следующий день я приехал к нему, и он достал из портфеля рукопись со словами: «Подумайте, как странно, вчера мы с Вами говорили о Шпете, а сегодня утром вот, что я нашел в неразобранном архиве Ольги Шор-Дешарт». Мы стали рассматривать эту рукопись, написанную на тетрадных листах крупным разборчивым почерком. В нескольких местах мягким карандашом в нее была внесена правка рукой Г. Г. Шпета, как я тотчас понял. Кто автор этой рукописи? Явно кто-то из молодых людей из окружения Шпета в Государственной Академии художественных наук. Но вряд ли Г. Винокур, так как его имя появляется в числе других в самой статье.

В 1928 г. Ольга Шор уезжала за границу и, видимо, по просьбе автора взяла эту неподписанную статью для того, чтобы ее опубликовать в Европе. Почему ей не удалось этого сделать тогда же, мы не знаем. Ольга стала ближайшим другом и помощницей-секретарем Вячеслава Иванова. Она жила в его доме до самой своей смерти, и ее многолетним культурным подвигом стала работа над архивами Вячеслава Иванова и издание Полного собрания его сочинений (1971—1987).

Может быть, кто-нибудь из наших архивистов сумеет установить по почерку, кто автор этого небольшого эссе?

М. К. Поливанов

1

Настоящая работа ставит себе целью характеризовать основные тенденции, выраженные в «Эстетических фрагментах» проф. Г. Г. Шпета (Вып. I—III, изд. 1923 г.). Это произведение может быть рассматриваемо как стоящее в глубокой преемственной связи с более ранними произведениями названного автора, и прежде всего со статьей «Предмет и задачи этнической психологии» (журн. «Психологическое обозрение», 1917—1918 гг.).

* Автор неизвестен.

В предлагаемом очерке мы не можем развернуть все нити предметной связи между «Эстетическими фрагментами» и предшествующими произведениями Г. Г. Шпета, мы можем лишь наметить основные моменты этой структурно-диалектической связи путем краткой общей характеристики самых принципов философии разбираемого автора.

Общая позиция Г. Г. Шпета с самого начала его философской деятельности определилась как рационализм, ищущий разумного обоснования действительности в ее подлинной данности и конкретной наполненности. Одним из недостатков исторически развивавшегося рационализма являлся его уход от подлинно данного в сторону логических и формально-онтологических абстракций. Эмпирики нередко ставили рационалистам в упрек тот разрыв, который получался в их построениях между миром неподвижных, себе тождественных субстанций, и многообразными аспектами текучей реальной действительности; эмпирикам всегда казалась заманчивой постановка проблемы действительности в ее непосредственной данности опыту, во всем многообразии ее форм и содержания, но они или притупляли это многообразие своими обобщающими рассудочными и чувственно-абстрактными схемами, или, провозгласив торжество бессильного иррационализма и релятивизма, отказывались от проникновения в разум действительного.

Между тем проблема реальной действительности отнюдь не является камнем преткновения для того вида рационализма, который в подлинно данном открывает логос как таковой. Если рационалист строит философию по образцу математики, т. е. мыслит себе самое содержание философских истин по образцу статических математических положений, если он на действительное смотрит просто, как на «выводимое» из бытия идеального, только возможного, то он заслуживает те упреки в абстрактности и статичности, которые бросают ему пылкие защитники бытия текучего и конкретно-заполненного. Наоборот, если рационалист отождествляет разум и логос, то он самый разум понимает не как некоторое субстанциональное начало, скрытое за подлинно данным, но сама реальная действительность, само подлинно данное включает в себя логос, является одним из аспектов его проявления. Для философии, примыкающей к основам платонизма, проблема логоса — слова — есть проблема самой действительности. Рационализм, связывающий себя с логосом, не выводит действительность из абстрактно-разумных начал и не гипостазировать идеальное, а открывает в действительности ее разумный смысл путем апелляции к первичной данности слова. Логос как таковой диалектичен; диалектика Платона есть узрение сокровенной логической жизни слова как такового; рационалист, связывающий себя с логосом, диалектически соотносит себе тождественное и текучее, необходимое и случайное, идеальное и реальное, ибо исходит из принципа исчерпания диалектически-словесных воз-

можностей. Проблема логоса допускает, однако, двоякий подход: 1) метафизически-космический, необходимо отступающий иногда от принципов философии как строгого знания; 2) феноменологически-описательный*, исследующий слово во всех его конкретно-данных основных и побочных функциях и требующий строго научных приемов анализа. Философия Г. Г. Шпета является ярким выражением этой второй «научной» тенденции в установке проблемы слова.

Интерес к предметным основам слова-значения вырос в противовес психологически-релятивистическим учениям о слове как представлении и нашел свое научно-философское оформление в трудах Гуссерля и Marty. Философские построения Г. Г. Шпета связывают себя с основами феноменологического метода, как они выразили себя в «Ideen zu einer Phänomenologie» и в «Logische Untersuchungen» Гуссерля. В нашу задачу, однако, входит установить, какие проблемы получили в философии Г. Г. Шпета оригинальное освещение и легли в основу его научно-философского мирозерцания. Самый корень основных принципов философии нашего автора мы усматриваем в попытке видеть в слове первичный, конкретно-рациональный аспект действительности и в попытке вскрыть слово в его подлинно разумных основах. Вечно рождающаяся тайна слова издавна влекла к себе поэтов, религиозных мыслителей и философов; но обыкновенно останавливались на созерцании красоты и силы словесной благодати, не пытаясь подвергнуть ее строгому философскому анализу. Но если приобщение к таинству художественного бытия логоса проникает собой творчество поэта и если величайшее мастерство логической мысли есть в то же время величайшее мастерство диалектического слова, то философская рефлексия как таковая не имеет более прямого и более сущностного объекта своего ведения, как само слово. Если для Гуссерля сфера чистой логики есть область абсолютно чистых предметных отношений**, если основы его философии не позволяют рассматривать бытие социальное как первичное, категориальное***, то основные и наиболее оригинальные пункты философии разбираемого автора вращаются вокруг попытки принципиального узрения спецификаума социального предмета как такового.

Характеризуя кратко основные принципы философии Г. Г. Шпета, мы сгруппируем их вокруг следующих основных проблем, из которых каждая получает свое развитие в «Эстетических фрагментах», но которые принципиальную свою установку получают уже в более ранних произведениях Г. Г. Шпета. Проблемы эти следующие: 1) проблема смысла и соответствующего

* Эти два слова Г. Г. Шпет зачеркнул и вставил своей рукой: «аналитически-диалектический» (прим. ред.).

** См. последнюю главу первого тома «Logische Untersuchungen» и конец первого исследования второго тома.

*** См. первый параграф «Ideen zu einer Phänomenologie».

акта постижения смысла*, 2) проблема действительного *gestalt*, социального бытия, исторически данного, проблема культуры, 3) проблема логики как науки о слове**. Собственно все эти проблемы внедряются в проблему слова, из нее исходят и к ней возвращаются, так или иначе располагаются вокруг центрального рационалистического ядра логоса как такового.

Проблема *смысла* ставится Г. Г. Шпетом в ближайшем контакте с проблемой постижения интимного ядра предмета в его конкретной ноэматической наполненности. В книге «Явление и смысл» подчеркивается, что смысл никоим образом не может быть рассматриваем как некоторая случайная, абстрактная форма, присущая ноэматическому содержанию извне, но что смысл таится в глубине поэмы как ее неотъемлемое ядро***. Автор указывает, что сущность логических актов не может быть исчерпана одними тетическими, формально устанавливающими актами, но что *понимание* как *уразумение*, как непосредственное постижение смыслового ядра предмета, составляет важнейший ингредиент собственно логического содержания мыслительных актов. На страницах книги «Явление и смысл» Г. Г. Шпет указывает на бытие социальное как на данное сигнификативно, как на не могущее быть постигнуто иначе, как через интерпретацию своей герменевтической, знаковой природы. Социальный предмет не может быть разложен на абстрактно-формальные или чувственно воспринимаемые элементы, он в себе содержит свою «энтелехию», свой «внутренний смысл», свою «разумную мотивацию»; эта смысловая энтелехия не может быть дана в формах тетического акта как такового (акта *Setzung*), но презентативна в специфическом акте разумения, интерпретации, стоящем в теснейшей связи с актом устанавливающим, но с ним не отождествляющимся. Так, «секира», как предмет из мира социального (пример, приводимый на страницах «Явления и смысла»), имеет в «рубить» свое назначение, свою разумную мотивацию, которая не подлежит ведению чувственности и не есть вместе с тем объект интуиции идеального на основах логики математического естествознания. Ввиду того, что проблема смыслового постижения, акта интерпретации, играет первостепенную роль в основных построениях Г. Г. Шпета, самую его позицию можно характеризовать как «рационализм герменевтический», интерпретирующий, в противоположность рационализму «доксическому», формально-устанавливающему.

Социальное бытие, как бытие *suī generis*, не может быть рассматриваемо как простая надстройка над бытием индивидуальным, социальное сознание имеет свою особую структуру общего, соборного сознания. «Соборное в его сущности и его же сущест-

* Здесь Шпет после запятой вставил слово «понимания», которое он подчеркнул (прим. ред.).

** Здесь Шпет вставил слова: «в его внутренних формах» (прим. ред.).

*** См. «Явление и смысл», гл. V, VI.

венные типы есть самостоятельная сфера исследования. Конкретное как таковое имеет свою особую «общность», которая достигается не путем обобщения, а путем «общения». Сознание, например, религиозное может рассматриваться не только как общее, но и как общное, оно имеет свою конкретную форму общины, имеет свою, скажем, «организацию веры», сознание эстетическое имеет конкретную общную форму искусства, или «организацию красоты», то же относится к «науке» и т. д. Все это необходимо должно иметь свою «форму», чтобы оно могло быть названо и затем раскрыто в смысле своего слова, логоса»*.

Социальный предмет дается в своей *истории*, культура исторична, конкретное бытие исторично. Историческое дается в акте интерпретации, смысл культурного бытия должен быть уразумеваем в своей истории. Культура как таковая не является в построениях Г. Г. Шпета только ценностным бытием, культура не есть нечто такое, что только «gilt», история не есть проблема этики (как это *выходит согласно взглядам* некоторых известных неокантианцев)** — культурно-историческое бытие есть сама действительность в ее сигнификационной данности. Г. Г. Шпет говорит об историчности самой философии, подразумевая под этим диалектическую историю конкретных смыслов, диалектическую историю самого философского сознания.

Социальный предмет как таковой, культура как таковая, имея в сигнификативности существенную форму своей данности, проявляют себя объективно в учреждениях социального характера. К числу таких объективных проявлений культуры как таковой относится язык. Язык должен быть изучаем в своей истории; семантические слои языковых явлений, составляющие их внутреннюю суть, конкретно даны в своей истории. Но история языка не довлеет себе, ибо она не может быть рассматриваема просто как «конгломерат», составленный из принципов разных наук (как это *выходит по Паулю*)***, история языка нуждается в принципиальном обосновании, каковым может быть лишь всеобщая семасиология как принципиальная, феноменологически-описательная наука о значениях в их конкретном сигнификационном бытии. Основополагающее значение всеобщей семасиологии для истории языка *подчеркивается* Г. Г. Шпетом в его статье «Предмет и задачи этнической психологии». В этой статье Г. Г. Шпет с особой силой *подчеркивает* принцип антипсихологичности культуры как таковой, убедительно доказывая, что социальная вещь не может быть разложима на какие-либо психологические или биологические элементы. Объективные социальные предметы — произведения искусства, науки, явления языка, исторические памятники, города, улицы, дома, костюмы и т. д. должны быть изучаемы

* См. статью «Сознание и его собственник», с. 209 (Сборник, посвященный Г. И. Челпанову).

** Например, в системе Когана проблема истории составляет часть этики,

*** См. «Prinzipien der Sprachgeschichte», с. 1.

как таковые в своей объективности; то, что составляет их основную надфизическую природу, отнюдь не является чем-то «психическим» или результатом «психических взаимодействий», но именно постигается в акте разума своего социального назначения, своего социального эйдоса.

Но статья «Предмет и задачи этнической психологии» — как то указывает самое название — поднимает вопрос о том социально-этническом, психологическом типе, о том Volkgeist, понятие которого защищали Лацарус и Штейнталь и против которого выступил Пауль со своей аргументацией языковеда-историка и вместе с тем последователя гербартианской психологии. Для автора статьи «Предмет и задачи этнической психологии» этническая гeсрeст. социальная психология как таковая не может быть рассматриваема как «продолжение» общей индивидуальной психологии, не может быть она рассматриваема и как модификация этой последней. Ибо для исследуемого автора общая абстрактная законоустанавливающая психология совсем не является основной наукой для так называемых наук о духе. Автор упомянутой статьи чрезвычайно метко рисует положение этнической психологии, ставшей в тупик со своими задачами: она хочет быть законоустанавливающей, объяснительной наукой, но никаких законов установить не может, она претендует на основное значение, а по существу является лишь продолжением общей абстрактной психологии*.

Г. Г. Шпет вкладывает положительное содержание в проблему этнической психологии, признает ее право на существование, однако свои утверждения о предмете и задачах этнической психологии он выставляет лишь после принципиального анализа соответствующих понятий «духа» и «коллектива». Сторонник строгого феноменологического метода анализа самих значений в их разнообразных контекстах, Г. Г. Шпет дает мастерский анализ терминов «духа» и «коллективного», и этот анализ дает ему возможность усмотреть те значения понятий «духа» и «коллективного», которые непосредственно связаны с предметом этнической психологии. Мы не можем здесь даже вкратце изложить те чрезвычайно точно сформулированные различия между значениями духа и коллектива, которые приводит автор на страницах статьи; мы кратко передадим лишь смысл наиболее важных значений. Относительно понятия «духа» можно указать на три главных значения: 1) дух как чистая деятельность, как некоторый субстанциональный носитель, манифестирующий себя в явлениях эмпирической действительности. Это значение понятия «духа» ближе всего подходит к тому пониманию, которое было у немецких идеалистов; 2) дух как идея, как смысл, не имеющий

* Критические замечания Г. Г. Шпета по поводу установления предмета этнической психологии касаются главным образом построений Лацаруса и Штейнтала, а также построений новейшего защитника «Volkerpsychologie» Вундта.

реального существования, но постигаемый как сущность коллективного целого; дух в этом смысле есть разум вещей, взятый в его принципиальной чистоте; 3) дух как «некоторый конкретный тип, стиль или тон. Мы в нем имеем наглядный, непосредственно осязаемый как бы «образ» идеи, как единство не отвлеченно-логического, а тоже в своем роде коллективного. Это не кратковременное состояние, а пребывающая «форма», запечатлевающая в «образе» не только некоторую наличную совокупность признаков, но и отражающая в себе всю массу признаков, накопившихся в процессе исторического «формирования» духа. Дух есть как бы эхо того жизненного многообразия, отклик на каждый его звук и тон, включающий в себя всю его полноту, но только в особых символически-проецированных корреляциях. «Дух» отображает, таким образом, действительность, обнаруживая перед нами в конденсированном виде, но точном, хотя преобразованном, некоторую структуру переживаний коллективной организации. Дух здесь — чуткий орган коллективного единства, откликающийся на всякое событие в бытии этого единства. Если этническая психология есть наука о духе, то только в этом смысле»*.

Мы привели эту длинную, хотя и со значительными сокращениями цитату из текста упомянутой статьи, потому что находим, что вышеприведенная характеристика чрезвычайно важна для понимания сущности этнической психологии по Г. Г. Шпету. Свой анализ понятия «коллективного» исследуемый нами автор связывает с анализом понятия «дух». Мы обратим внимание на два значения понятия «коллективного», которые нередко смешивают с «коллективным», взятым в психологическом аспекте: 1) единообразии, сходство известных переживаний и действий индивидов, которое кладется в основу психологии массы и которое, по существу, соединяет воедино простые экземпляры, а не члены живого целого; 2) взаимодействие индивидов, вылившееся в некоторую коллективность, как организацию; здесь коллектив есть собственно социальная вещь, являющаяся реальностью *sui generis* и не могущая быть разложима на психологические моменты. Взаимодействие есть социальное «отношение в динамическом коллективе» и как таковое оно только и может быть понято. Первое из вышеприведенных значений коллективного не может быть понято как предмет этнической психологии, ибо «сходство известных переживаний» не есть *eo ipso* предмет конкретный, это есть предмет абстрактно-обобщенный, уничтожающий индивидуальное как таковое. Второе из приведенных значений берет «коллективное» в существенно антипсихологическом, вещевом аспекте. В противовес этому последнему значению коллектива, коллективное как «тип» есть предмет этнической психологии и по самому существу дела не дано в формах овеществления. «Тип в этом смысле коллективен, потому что он «собирается», составляется из элементов, черт и признаков. Это не

* См.: Психологическое обозрение. 1917. Вып. II.

есть «средняя», всегда обедненная по сравнению с некоторыми индивидуальными слагаемыми. Тип до крайности интенсивен и индивидуален, он не результат обобщения, обезличивающего индивидуальное, а репрезентант многих индивидов. Здесь тип надо сопоставлять с типом, как употребляется этот термин в характеристике художественных произведений»*. Наши ссылки на некоторые важные различия в области проблемы социального предмета, проведенные Г. Г. Шпетом в статье «Предмет и задачи этнической психологии», имели целью показать, что социальный предмет берется автором в полноте своего проявления. Самое философское видение Г. Г. Шпета приспособлено для того, чтобы видеть социальный предмет в его конкретной полноте: он не может поэтому не анализировать социальный предмет как таковой в его объективном смысле и объективно высшей запечатленности в выражении; с другой стороны, он не может не видеть те наслоения социальных переживаний, коллективных настроений, те проявления укладов соборного сознания, которые эмоционально модифицируют пульс культурно-общественной жизни. Если между значением как таковым, *ergon*, и сознанием как *prag-ergon* проведена четкая демаркационная линия, то это различие диктовалось, как мы видели, феноменологическим анализом основных понятий духа и коллектива. Это различие значения и сознания и, соответственно, различие основных и побочных функций слова играет важную роль для самого метода анализа, имеющего место в «Эстетических фрагментах».

Если бытие культуры как таковой дается в слове, — имеет существенно сигнификационную данность, — то какая же наука изучает формы словесных выражений в их безусловно строгом соответствии онтическим формам самого предмета? Наука эта — логика. Г. Г. Шпет в своих печатных произведениях, как и в изложении устного характера, неоднократно определял логику как науку о слове. Если чистый, свободный от словесной оболочки, так сказать, обнаженный предмет есть абстракция, — а согласно основным философским принципам Г. Г. Шпета таковой предмет именно есть абстракция, — то логика никоим образом не может быть рассматриваема как наука о чистых предметных формах и отношениях; таковой наукой в лучшем случае является общая формальная онтология. Будучи противником отождествления логики и онтологии, Г. Г. Шпет центр тяжести вопроса переносит именно на самое соответствие смысловых, логических и предметно-онтических отношений; словесно-логическое оформление «чистого» предмета является предметом прямого рассмотрения логики. Логические формы слова далее определяются Г. Г. Шпетом как «внутренние», т. е. помещающиеся между внешними звуковыми формами и формами предметно-онтическими. В понимании Г. Г. Шпета логика как таковая носит существенно *герменевтический* характер; логические акты не могут

* См.: Психологическое обозрение. 1917. Вып. II.

быть сведены на тетиические акты устанавливания; *понимание*, разумение, составляет самое сердце логического постижения. Логика как наука о слове в методологической своей части ставит проблему классификации наук, ибо наука есть прежде всего слово. Методология наук существенно логична и существенно основана на многообразии форм научного выражения. Разглагольствованиям иррационалистов о схематичности слова-понятия и о невозможности втиснуть живую текучую действительность в рамки логических построений Г. Г. Шпет противопоставляет свое учение о «динамике смысла», о живой диалектической связи между понятиями, изнутри присущей эйдосу слова*. О «динамике понятий», о текучести сознания говорят все, кто не хочет оставаться в рамках традиционного рационализма, между тем рациональное право утверждать динамику философских понятий, принципиально отличную от механической, физико-математической динамичности, имеют только те, кто понимает логику как науку о слове, ибо подлинная динамичность и диалектичность понятий раскрывается в слове, и только в слове.

Тот логический пафос — пафос рационализма, который так ярко дает себя чувствовать на страницах статьи «Мудрость или разум», книги «История как проблема логики» и других произведений Г. Г. Шпета, не вытекает, как мы старались показать, из каких-либо ультраинтеллектуалистических предпосылок разбираемого автора. Наоборот, принципиальная позиция Г. Г. Шпета свободна от недостатков интеллектуализма; именно в области конкретных явлений культурно-исторического порядка его анализы нередко достигают высокого мастерства**. Ключ к этому гармоничному синтезу философского, принципиального анализа в понятиях и постижения смысла отдельных культурно-исторических явлений в их индивидуальности мы видим в общей философской позиции Г. Г. Шпета, которую мы характеризовали как «герменевтический рационализм».

Но если логическая мощь слова составляет его конкретно-умозрительную *ratio*, то художественное бытие логоса как «союз волшебных звуков и дум» есть то чарующее воображение человечества слияние чувственного и идеального, которое мы бы тщетно стали искать в бытии понятия как такового. Мы видели, что по самому типу своего мышления Г. Г. Шпет устремляется к постижению тайников бытия культурного, конкретно-социального. Мог ли его взор не быть прикованным к проблемам эстетики и философии искусства, хранящим в себе тайну взаимного проникновения идеального и чувственного, этих основных стихий бытия?

* См.: Шпет Г. Г. Мудрость или разум//Мысль и слово: Философский ежегодник. — М., 1917.

** Мы имеем в виду те анализы культурных событий и характеристики отдельных культурно-исторических личностей, которые имеют место в «Очерке истории русской философии» (т. 1, 1922 г.), в статье «Философия Герцена» (1922 г.) и в статье об Юркевиче (1915 г.).

Приступая к анализу основных мыслей, высказанных в «Эстетических фрагментах», мы заранее предупреждаем, что наша экспозиция (*Darstellung*) явится очень бедной передачей самого содержания этого произведения. «Эстетические фрагменты» написаны чрезвычайно сжато и абсолютно не поддаются сколько-нибудь краткому изложению. II и III выпуски «Эстетических фрагментов» нуждались бы в длинных комментариях, которые мы здесь давать не можем. Отказавшись от целей реферирования самого содержания «Эстетических фрагментов», мы ставим себе задачей раскрыть некоторые основные тенденции этого произведения в связи с теми анализами, которые мы произвели в первой главе.

II и III выпуски «Эстетических фрагментов» имеют своим предметом слово в свете принципиального анализа его структуры. II выпуск ставит себе задачей установить и описать структуру слова *In usum aetheticae*, т. е. раскрыть сознанию все моменты, потенциально или актуально заключенные в структуре слова, и наметить их возможную эстетическую значимость. III выпуск берет моменты слова в их уже раскрытой принципиальной структуре и анализирует словесные слои под специальным углом собственно эстетического рассмотрения. Что касается I выпуска, то он содержит некоторые интересные общие рассуждения автора о сущности искусства и о природе словесного знака, но так как воззрения автора не представлены в этом I выпуске в виде систематического целого и так как они сильно овеяны идейно-персоналистическими настроениями Г. Г. Шпета, то мы на них (за краткостью нашей статьи) останавливаться не будем.

II и III выпуски «Эстетических фрагментов» являются выражением строго методического подхода к проблеме слова, они содержат в себе основы нового и плодотворного метода в отношении изучения проблемы слова. Метод этот определяется как метод структурного анализа слова. Термин «структура» — действительно основополагающий для «Эстетических фрагментов», и мы на нем остановимся. В наше время охотно говорят о структуре выражения, общества, наряду с высказываниями о структуре растений и других организмов. На французском и немецком языках особенно часто употребляют термин «структура» в отношении организмов. В отношении неорганических веществ термин «структура» вообще не употребителен. Читатель «Эстетических фрагментов», однако, не должен исходить из аналогии между предметами культуры и строением естественных организмов. Термин «структура» берется автором в специфическом значении культурного, духовного строения, и эта специфичность им поясняется: «Под структурой слова разумеется не морфологическое или стилистическое построение, вообще не «плоскостное» его расположение, а органическое, вглубь: от чувственно воспринимаемого до формально-эстетического предмета, по всем ступеням распо-

лагающихся между этими двумя терминами отношений. Структура есть конкретное строение, отдельные части которого могут меняться в «размере» и даже в качестве, но ни одна часть из целого *in potentia* не может быть устранена без разрушения целого». «Структура должна быть отличаема от «сложного», как «конкретно-разделимого», так и различимого на абстрактные моменты. Структура может быть расчленяема на новые замкнутые в себе структуры, обратное сложение которых восстанавливает первоначальную структуру. Духовные и культурные образования имеют существенно структурный характер, так что можно сказать, что сам «дух» или культура — структурны». «Каждая структура в системе сохраняет свою конкретность в себе». «В структурной данности все моменты, все члены структуры всегда даны, хотя бы *in potentia*». Этот ряд цитат, извлеченный из контекста суждений, специально трактующий значение термина «структура», указывает на то, что членение предмета культуры есть данность *sui generis*, чуждая какой бы то ни было механизации и абстрактных моментов в ее внутренних соотношениях. Естественный организм может быть рассматриваем как структура в этом специфическом смысле, но прототип такого рода членения составляют именно культурные, духовные образования, и прежде всего слово, слагающееся из слоев или моментов, ступенями располагающихся вокруг центрального смыслового ядра самого слова. Дух как таковой, в понимании Г. Г. Шпета, не есть какая-либо простая субстанция или гипостазированная идея, а есть именно слово как воплощенная, явленная культура. Структурные моменты слова диалектически между собой связаны; один слой не отделен от другого какими-либо статическими перегородками, но самая его фиксация требует его органического продолжения, роста в глубину. Структурный разрез слова есть его глубинный разрез в смысле постепенного снятия оболочек, располагающихся вокруг центрального смыслового ядра слова, и в смысле развертывания перед сознанием этих словесных моментов в их принципиальном строении. На страницах II выпуска «Эстетических фрагментов» ярко подчеркивается, что слово есть «принцип культуры», «воплощение разума», оно есть «*grima facie* сообщение», имеет, следовательно, существенно социальную природу; «связь слова со смыслом есть связь специфическая», слово есть «знак *sui generis*», по существу отличный от знаков-примет, вещевых этикеток, естественных признаков-симптомов. Если в первой главе нашей статьи мы останавливались на особенностях «герменевтического рационализма» Г. Г. Шпета, так это для того, чтобы вышеприведенные характеристики слова могли быть без труда вставлены читателем в общий контекст философских принципов разбираемого автора. Необходимо, однако, отметить, что ни в одном из произведений Г. Г. Шпета культурная мощь слова не показана с такой убедительностью, как в «Эстетических фрагментах». Поэтому небольшие по объему «Эстетические фрагменты» привлекли значи-

тельное количество почитателей и последователей своего метода и своих основных положений. Так, учение о слове как о принципе культуры, как о социальном знаке *suī generis*, учение о внутренних поэтических формах, носящих своеобразную эстетически-смысловую окраску, ложится в основу воззрений молодых московских лингвистов и теоретиков поэтического языка (Г. Винокур, Р. Шор, Б. Горнунг)*. С другой стороны, основы феноменологического изучения художественных моментов искусства и структуры эстетического сознания находят своих продолжателей в лице молодых московских феноменологов (Н. Волков).

По сравнению с предшествующими произведениями Г. Г. Шпета «Эстетические фрагменты» вводят новый предмет в контекст принципиального рассмотрения. Предмет этот — эстетическое, эстетический предмет, эстетическая установка сознания. Следует отметить, что «Эстетические фрагменты», сосредоточиваясь на анализе моментов слова, не дают систематического обоснования эстетическому как таковому в его своеобразном отношении к проблеме искусства; тем не менее, некоторые принципиальные воззрения автора на эстетическое как таковое вырисовываются на страницах разбираемого произведения**. Отметим в первую очередь, что автор — сторонник принципиальной философской эстетики, которую никоим образом нельзя подменять психологией эстетического переживания. Эстетический предмет как таковой коррелятивен эстетическому сознанию; философская эстетика изучает этот вид сознания в его активной структуре и своеобразных параллелях по отношению к другим видам сознания: научному, религиозному. Эстетическое сознание есть один из аспектов культурного сознания в его целом. Одной из особенностей эстетического сознания, по сравнению с научным, является его направленность на предмет фиктивный, *отрешенный*, не находящий себе места в системе идеальных отношений или в эмпирической, реальной действительности. Эстетика как таковая не отождествляется с «философией искусства», ибо эта последняя имеет дело с искусством во всей полноте его материально-культурного, исторически развивающегося содержания или сосредоточивает свой анализ на системе предметных форм, варьирующих от искусства к искусству. Материальные и формальные особенности искусства не необходимо носят эстетический характер, они могут быть связаны с культурными и социально-психологическими настроениями вне эстетического характера.

Как известно, вопрос о «форме» и о «содержании» в искусстве — один из самых запутанных и трудноразрешимых, и нет исследователя, который вполне бы ускользнул от тонкосплетенных сетей этой проблемы. Автор «Эстетических фрагментов» стремится

* На полях рукой Г. Г. Шпета написано: «Нужны ли эти не столь уж знакомые Западу имена?» (прим. ред.).

** Принципиальные указания по поводу предмета философской эстетики можно найти в статье «Проблемы современной эстетики»//Искусство. 1923. № 1.

ся к философскому уточнению анализа отношения формы и содержания в искусстве. Он не удовлетворяется традиционным противопоставлением формы и содержания в искусстве и стремится согласовать дух метафизически-идеалистической эстетики (ярким представителем которой является Гегель) с современными эстетическими анализами, вращающимися преимущественно в вопросах художественной формы. Автора можно бы назвать представителем «эстетики содержания», если бы с точно таким же правом он не был бы представителем «эстетики формы». Если мы вспомним, что для автора предмет оформлен в слове и чистый предмет, чистое онтическое содержание есть абстракция, мы легко поймем его утверждение, что самое содержание можно познать лишь в системе форм и что собственно эстетическое содержание располагается по ступеням фундирующих друг друга форм; автор говорит о формальном содержании и содержании самих форм; с другой стороны, он не видит смысла в речах о формах, опустошенных от содержания, ибо всякое нечто имеет свою нозму, свой смысл.

Анализ структурных моментов — слоев слова производится автором во внутренней корреляции к анализу актов, на эти предметно-словесные слои направленных, но так как мы не занимаемся изложением содержания «Эстетических фрагментов», то мы не можем здесь следовать чрезвычайно гибкой диалектической нити высказываний автора об отдельных моментах слова, так же как не можем развернуть перед читателем характеристики актов. Мы отметим только, что автор прослеживает градиацию актов от акта номинативного, называющего вещь, уподобляющего слово вещи и не содержащего в себе логически-смысловых моментов, к акту предикативно-устанавливающему, непосредственно связанному с разумеющей функцией слова. Аналогон вот этого, уже знакомого читателю на основании первой главы, акта разумного понимания составляет акт постижения эстетического как такового.

Что касается членения самих слоев, структурных моментов слова, то в общем они могут быть разделены на 1) формы внешние (фонетические и служебно-грамматические, морфологические), на 2) формы внутренние (логические и поэтические формы в их своеобразном отношении к внутренним синтагматическим формам) и на 3) формы онтического содержания в контексте эстетического целого (сюда относятся формы сюжета, тематики). В отдельную рубрику выделяются Г. Г. Шпетом формы *экспрессии* как в своем естественном, так и в эстетически оформленном проявлении (мы будем иметь случай их несколько коснуться). Так как формы фонетических сочетаний и формы морфологические в тесном смысле слова не являются еще, согласно воззрениям автора «Эстетических фрагментов», носителями собственно эстетических функций слова, то мы не будем останавливаться на их характеристике, а прямо перейдем к анализу «внутренних поэтических форм».

Мы находим следующие характеристики «внутренних форм» в «Эстетических фрагментах»: «В неопределенно широком обозначении все отношения, которые конструируются между внешними формами сочетания и смыслом слова в его естественной онтологической конституции, располагаются как область внутренних форм». «В противоположность внешним формам звукового сочетания поэтические формы также могут быть названы внутренними формами». «Данность чистых и внутренних форм есть данность интеллектуальная». В отношении внутренних поэтических форм автор особенно подчеркивает их синтаксическую зафиксированность, он поддерживает ценные разъяснения А. Марти относительно внутреннего строения синтагм. Но тогда как Марти все же не до конца свободен от психологизма в понимании внутренней формы, тогда как он видит в ней некоторое «Mittel zum Verständniss», приписывает ей побочное служебное значение, автор «Эстетических фрагментов» усматривает во внутренних формах поэтический смысл, «принципиальный и самодовлеющий»*.

Синтаксические формы сами по себе еще не рассматриваются автором «Эстетических фрагментов» как «внутренние». Внедренные в природу данной эмпирической языковой системы, они обладают своим свободным законодательством и не должны быть непременно втиснуты в рамки общей логики; они имеют свои подразумеваемые онтические формы самого слова; синтаксис, как наука о слове как слове, о «слововещи», определяется автором как «онтология слова». С другой стороны, эмпирические «синтагмы, доставляемые «капризом языка», составляющие его «улыбку и гримасы», — «игривы, вольны, подвижны и динамичны». В этой прихотливой словесной динамике оборотов и словорасположений автор усматривает особые внутренние синтагматические формы, которые делают возможным телесное воплощение идеального поэтического смысла. Эти внутренние поэтические формы фундируются на логических, они слагаются в «игре синтагм и логических форм между собою», составляют своеобразный «дифференциал, своеобразный «алгоритм» между идеальными логическими и эмпирически-синтаксическими формами». Наука о формах поэтического языка — поэтика — составляет своеобразный аналогон логике как науке о формах научного языка. Поэтика имеет дело с богатством стилистически-синтаксических форм в их семантической и внешнеязыковой структуре.

* Термин «внутренние формы речи», по собственному признанию автора, заимствован им у В. Гумбольдта. Термин «внутренняя форма» у Гумбольдта допускает возможность различных интерпретаций. Нам кажется, однако, что поскольку гумбольдтовская «внутренняя форма» таит в себе интеллектуальную и эстетическую сокровищницу языка, который Гумбольдтом не берется только в свете эмпирического рассмотрения, постольку автор «Эстетических фрагментов» связывает себя с некоторыми основами гумбольдтовских анализов. С другой стороны, учение Г. Г. Шпета о «внутренней форме» должно быть резким образом противопоставляемо учению о психологизированном *etymos*, которое играет видную роль в построениях Штейнталя (и даже Марти).

Внутренняя поэтическая форма речи есть образ-носитель собственно эстетических функций слова. Характеристика образа ведется автором в противовес психологистическим теориям, рассматривающим образ, как представление, и придающим большое значение моментам красочности, наглядности в образе как таковом. Автор противопоставляет также свое учение об образе теориям, сводящим на нет смысловой характер образа, подчеркивающим его чувственно-эмоциональную природу. Согласно «Эстетическим фрагментам», образ не должен быть, грубо говоря, противопоставляем термину, ибо он в себе этот термин носит, на нем фундируется; но он действительно имеет структуру, отличную от структуры термина. Термин направляется на логически существенное, на статически зафиксированное, «образ может признаку логически для вещи несущественный принять за характеристику вещи». «Образ динамичен сам по себе, он всегда в движении и легко переходит в новый образ-подобие». Внутренняя поэтическая форма фундируется на логической, не утрачивая своего исконно творческого характера: там, где имеется одна логическая форма, может иметь место не одна внутренняя; например, «земля в снегу», «под снежной пеленой», «в снежной ризе», «под снежным покровом» и т. д.; ясно, что многообразные поэтические формы водружаются на одну логическую. Конкретность образа определяется автором как типичная, общая. Своеобразное учение автора об *общном*, как содержащем в себе индивидуальную типичность*, развивается при характеристике художественного образа. Образ должен быть согласован с тем онтическим содержанием, которое выражено в соответствующем ему термине. Внутренняя динамика образа канонична, предопределена его предметным содержанием, канон образа и есть то, что делает возможным его эстетичность. То, что нередко объявляется за «сущность» поэтического образа — красочность, наглядность и зрительная колотурность**, также уподобление образа «сравнению», рассматривается автором как пережиток психологизма. Мы приведем некоторые цитаты из «Эстетических фрагментов», относящиеся к характеристике символа, ибо символизм автор рассматривает как *specificum* всякой поэзии. «Символический поэтический смысл, смысл слова в поэтической форме, есть отношение между логическим смыслом и синтагмами, как *suū generis* предметами (словесно-онтологическими формами). Символ рождается только в переплетении синтагм, синтаксических форм и форм логических, нося на себе всегда печать обоих терминов. Сфера поэтических символических форм — сфера величайшей, напряженнейшей огненной жинзи слова. Это — заросль, кипучая неистощимым жинзетворчеством слова. Мелькание, перебегание света, теней и блеска. Символическая семасиология —

* Против этого пассажа Г. Г. Шпет на полях вставил какое-то замечание, написанное по-итальянски (?), которое не удалось разобрать (прим. ред.).

** Это слово рукой Шпета исправлено на «колоритность (?)» (прим. ред.).

каскад огней всех цветов и яркости. Всякая симплифицирующая генетическая теория символов — ужимка обезьяны перед фейерверком*. «Во всяком символе *внешним* символизируется *внутреннее*. Через символ внутреннее есть внешнее, идеальное — реальное, мысль — вещь». «Символ сам есть sui generis смысл — оттого-то он есть и тождество «бытия» и «мысли» — со-мысль и symbolon». Для понимания учения Г. Г. Шпета о символе как «втором смысле», как «аналогоне логического смысла» особенно важно учитывать его учение о смысловом акте как таковом, по существу, конкретно заполненном и не могущем быть отождествимым с актом формально-полагающим (Setzung), как и необходимо помнить о гетерогенности «знака» и «естественной вещи». Если смысл — логический или символический — дается исторически, то история смыслов не должна подменяться историей вещей и их названий. С точки зрения автора «Эстетических фрагментов», лингвистика имеет своим предметом именно историю конкретных смыслов как «диалектических аккумуляторов мыслей», а не только историю названий вещей**.

Мы уже не раз указывали на то, что для автора «Эстетических фрагментов» «чистый», т. е. лишенный словесной оболочки, предмет есть абстракция. Для логического рассмотрения предмет сам по себе является некоторой идеальной точкой, цементом, не дающим рассыпаться облегающим его словесным формам, и вне их не мыслимым. В контексте эстетического рассмотрения предметные формы точно так же неразрывно связаны со структурой слова и разворачиваются в формах конкретной темы или сюжета. Автор «Эстетических фрагментов» придает важное значение роли сюжета в произведении искусства. Он мыслит себе сюжет поэтического произведения не как голую идею, подлежащую выражению в слове, но как смысловую предметную форму, предвосхищающую самый характер выражения. Он указывает на сюжеты, обладающие своей «прирожденной внутренней поэтической формой», т. е. на такие сюжеты, которые в себе содержат эстетический смысл и возможность эстетического эффекта. Сюжетам с «прирожденной внутренней поэтической формой» автор противопоставляет сюжеты, самое переплетение форм которых может вызвать у читателя перебой эмоциональных настроений, например ужаса, удивления, сострадания и т. д., но еще не эстетический эффект как таковой. Проблематика сюжета есть, таким образом, с точки зрения автора «Эстетических фрагментов», законный предмет собственно эстетического рассмотрения, и в основу этого рассмотрения ложится учение автора о содержании, как необходимо проявляющемся в системе форм, и его учение о нерасторжимости предмета и выражения.

* На полях рукой Г. Г. Шпета написано: «По-моему, не надо эту обезьяну!» (прим. ред.).

** Именно в отношении проблемы истории самих значений автор «Эстетических фрагментов» неудовлетворен опытами Пауля, Бреала, Вундта.

Сосредоточив свой анализ на проблеме внутренних поэтических форм, как они представлены в «Эстетических фрагментах», пытаюсь передать лишь самое необходимое из многообразных, диалектически гибких и *полновесных высказываний* автора по этому предмету, мы имели в виду то обстоятельство, что во внутренних формах лежит самый центр тяжести эстетической наполненности (Fülle) слова. Эстетический смысл слова не включает в себя эмоциональность как таковую. Проблема эмоциональной насыщенности слова отведено особое место в «Эстетических фрагментах». В первой главе мы указывали на то, что Г. Г. Шпет берет социальный предмет в его полноте, как в аспекте сущностного смыслового разреза, так и в аспекте эмоциональных надстроек. В «Эстетических фрагментах» эмоциональная насыщенность слова именуется как экспрессия, соответствующий акт постижения экспрессии автор обозначает как «*симпатическое понимание*». Экспрессия дается как (sui generis) общее и в то же время насыщенное эмоциональностью. Экспрессивные оттенки выражения существенно связаны с внешними формами, они не содержат в себе собственно эстетического смысла, но они наличны в произведениях искусства и особенно характерны для некоторых видов искусства. Своеобразная эстетизация экспрессивных форм особенно ярко проявляет себя в искусстве сцены. Игра актера являет наслоение одних эмоциональных форм на другие, заключает в себе своеобразные эмоциональные суппозиции, симпатически воспринимаемые. Экспрессивные формы могут быть изучаемы в своей же sui generis данности и подлежат интерпретирующему анализу. С другой стороны, экспрессия может быть рассматриваема со стороны своего чисто персонального содержания, она дает нам возможность проникнуть в «душу» автора, вырисовывает его личность в формах экспрессивного проявления*. Это постижение личности через экспрессию остается актом интерпретирующим, актом понимания. Согласно учению Г. Г. Шпета личность не есть нечто только внутреннее, в себе замкнутое, она по существу социальна, индивидуально-типична и узнается во внешнем выражении. Моменту «внешности» Г. Г. Шпет в противовес немецким идеалистам, так или иначе связывающим себя с Кантом, придает первостепенное значение, ибо первичность слова создает и первичность внешнего знака как такового. Необходимо лишь подчеркнуть, что речь идет не о той только воспринимаемой внешности, на которую направляется так называемый «внешний опыт», а именно о внешности интерпретируемой, сигнификационной.

Выделение эмоциональных моментов слова в особую рубрику, как и фундирование эстетических форм на логических, может создать повод к обвинению автора «Эстетических фрагментов» в интеллектуализме. Для нас такой упрек был бы абсолютно не-

* Здесь рукой Шпета поставлена запятая и вставлены слова: «выражает стиль лица — единичного и конкретного (народ, эпоха и т. д.)» (прим. ред.).

приемлемым в силу тех доводов относительно общих принципов философии Г. Г. Шпета, которые мы приводили в первой главе. Фундирование эстетических форм на логических, о котором говорится на страницах «Эстетических фрагментов», есть прежде всего объект понимания, разумения, понятое и разумеемое, это фундирование никоим образом не может быть отождествлено с интеллектуалистическим включением вида в род, как части в целое, и с интеллектуалистически-схематическим прикреплением одного понятия к другому. Что касается эмоциональных моментов слова, то в контексте вопросов самой эстетики они действительно составляют момент побочный. Тем не менее, эмоциональность как таковая, рассматриваемая со стороны своего приобщения первично-общному (а не только субъективно-индивидуальному), составляет важный ингредиент искусства в целом и определенных видов искусства. Лишь в аспекте этого общего самосознания эмоциональные моменты пронизывают собой природу искусства и могут быть рассматриваемы в свете абсолютного.

В «Эстетических фрагментах» слово рассматривается как прототип всякого другого выражения. Означает ли это, что искусство слова является прототипом для форм выражения в других искусствах, в живописи, в музыке? Нам представляется, что автор «Эстетических фрагментов» действительно утверждает некоторый примат словесного искусства над изобразительными и тоническими в смысле максимальной эстетическо-смысловой завершенности (Fülle) поэтически-словесного знака как такового. Тем не менее, в утверждениях автора: «слово — принцип культуры», «вся действительность — слово» — термин «слово» обнимает собой и научное выражение, и поэтическое слово, и формы выражения других искусств. Структурный анализ слова, представленный в «Эстетических фрагментах», может иметь значение и для структурного анализа выражения в несловесных искусствах. Ибо выражение всякого искусства предполагает некоторую *sub specie* общность, предполагает наличность внешних, экспрессивных и внутренних форм, предполагает свой художественный смысл и возможные внеэстетические наслоения.

Мы закончим нашу статью указанием на некоторые внешние особенности стиля «Эстетических фрагментов». Согласно учению Г. Г. Шпета, всякое содержание расшифровывается в системе форм. Содержание «Эстетических фрагментов» разветвляется в системе гибких и многообразных форм научного стиля автора. Одна особенность этого стиля бросается в глаза. Манера писать Г. Г. Шпета иллюстрирует его учение о слове как сообщении. Действительно, его слово в высокой степени выдерживает этот характер со-общения. Читатель, приобщаясь к мысли автора, не может не давать отклика на каждое движение этой мысли. В «Эстетических фрагментах» мало готовых формулировок, нет пространных пояснений, отсутствуют законченные выводы и следствия из сказанного, но каждое слово есть намек на возмож-

ное дальнейшее развитие, каждое утверждение претендует на дополнения со стороны активно воспринимающей мысли читателя. Тот огромный интерес, который возбудили среди философски образованных читателей небольшие по объему «Эстетические фрагменты», в значительной мере свидетельствует о том, что сила слова, его разумно-логическая и действенная насыщенность измеряются интенсивностью и содержательностью ответного разума, многообразием и углубленностью соответствующих интерпретаций.

Москва, 21 октября 1926 г.

А. А. МИТЮШИН

БИБЛИОГРАФИЯ ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ Г. Г. ШПЕТА*

1. ФИЛОСОФСКИЕ РАБОТЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Шпетт Г. Обзор книг: Роджерс А. Краткое введение в историю новой философии / Пер. с англ. С. С. Зелинского; Под ред. Ю. И. Айхенвальда. — М., 1903. — Вопросы философии и психологии. 1903. Кн. IV (69). С. 728—732.

2. Шпетт Г. Обзор книг: Липпе Г. Ф. Основы психофизики / Пер. с англ. Г. Котляра. — СПб., 1903. — Вопросы философии и психологии. 1903. Кн. IV (69). С. 732—733.

3. Шпетт Г. Юм Д. Исследование человеческого разума / Пер. с англ. С. И. Церетели. — СПб., 1902 (рец.). — Мир Божий. 1903. № 11. С. 88—91.

4. Шпетт Г. Обзор книг: Челпанов Г. Мозг и душа/2-е изд. — СПб., 1903. — Вопросы философии и психологии. 1903. Кн. V (70). С. 877—882.

5. Шпетт Г. Обзор книг: Zu Kants Gedachtniss. Zwölf Festgaben zu seinen 100-jährigen Todestage. — Berlin, 1904. — Вопросы философии и психологии. 1904. Кн. III (73). С. 406—418.

6. Шпетт Г. Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. М. Соколова; 2-е изд. — СПб., 1902 (рец.). — Вопросы философии и психологии. 1904. Кн. IV (74). С. 550—564.

7. Шпетт Г. Кант И. Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики / Пер. с нем. Б. П. Бурдес; Под ред. А. Л. Вольнского. — СПб., 1904 (рец.). — Вопросы философии и психологии. 1904. Кн. IV (74). С. 564—566.

8. Шпетт Г. Память в экспериментальной психологии. Вып. II / Под ред. И. А. Сикорского и И. И. Гливиенко. — Киев: Педагогическая мысль, 1905. — С. 107—215.

9. Шпетт Г. Г. Проблема причинности у Юма и Канта // Труды Психологической семинарии при университете св. Владимира. Т. 1. Вып. 3, 4: Философские исследования. — Киев, 1905, 1907.

10. Шпетт Г. Проблема причинности у Юма и Канта. Ответил ли Кант на сомнения Юма? — Киев, 1907. — См. также: Университетские известия. 1906. № 5, 6, 7, 12; 1907. № 5.

* Библиография включает все опубликованные работы Г. Г. Шпета, а также его переводы философской и художественной литературы. Критические обзоры, касающиеся исключительно переводов философских произведений, осуществленных другими авторами, отмечены в скобках: (рец.). В библиографии указаны также все повторные и параллельные издания.

11. Шпетт Г. Кант И. Критика чистого разума/Пер. с нем. Н. Лосского. — СПб., 1907 (рец.). — Критическое обозрение. Вып. II. — М., 1907. — С. 39—41.
12. Шпетт Г. Г. Полян Фр. Воля/Пер. с франц. М. И. Васильевой. — СПб., 1907 (рец.). — Критическое обозрение. Вып. III. — М., 1907. — С. 23—25.
13. Шпетт Г. Г. Форель Авг. Мозг и душа / Пер. с нем. Б. И. Фейнберга. — СПб., 1908 (рец.). — Критическое обозрение. Вып. IV. — М., 1907. — С. 20—22.
14. Шпетт Г. Веймер. История педагогики / Пер. с нем. К. Тюлелива. — СПб., 1908. — Критическое обозрение. Вып. V (X). — М., 1908. — С. 31—32.
15. Шпетт Г. Г. Зигварт Хр. Логика. Т. I / Пер. с нем. И. А. Давыдова. — СПб., 1908 (рец.). — Русская мысль. 1908. № 9. С. 191—193.
16. Шпетт Г. Г. Продан И. С. Практическое руководство по психологии. — Харьков, 1908. — Критическое обозрение. Вып. IV. — М., 1909. — С. 30—34.
17. Шпетт Г. Г. Предисловие к русск. пер. кн.: Наторп П. Философия как основа педагогики. — М., 1910. — С. 3—8.
18. Шпетт Г. Г. Скептицизм и догматизм Юма // Вопросы философии и психологии. 1911. Кн. 1 (106). С. 1—18.
19. Шпетт Г. Г. Логика. Ч. I—III. Записки слушательниц лекциям, читанным в 1911—1912 гг. на Высших женских курсах. — М., 1912. — (Изд. литогр.).
20. Шпетт Г. Один путь психологии и куда он ведет // Философский сборник. Льву Михайловичу Лопатину к тридцатилетию научно-педагогической деятельности от Московского психологического общества. 1881—1911. — М., 1912. — С. 245—264.
21. Шпетт Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. — М., 1914.
22. Шпетт Г. Философское наследство П. Д. Юркевича (К сорокалетию со дня его смерти). — М., 1915. — Вопросы философии и психологии. 1914. Кн. 125 (V). С. 653—727.
23. Шпетт Г. К истории рационализма XVIII века (отрывок)//Вопросы философии и психологии. 1915. Кн. 126 (I). С. 1—61.
24. Шпетт Г. Критические заметки к проблеме психической причинности (По поводу книги В. В. Зеньковского «Проблема психической причинности». — Киев, 1914). — Вопросы философии и психологии. 1915. Кн. 127 (II). С. 283—313.
25. Шпетт Г. Первый опыт логики исторических наук (К истории рационализма XVIII века)//Вопросы философии и психологии, 1915. Кн. 128 (III). С. 378—438.
26. Шпетт Г. История как проблема логики: Критические и методологические исследования. Ч. I. Материалы. — М., 1916.
27. Шпетт Г. История как проблема логики: Критические и методологические исследования. Ч. I. Материалы. — М., 1916. — (Автореферат). — Исторические известия. 1916. № 1. — Перепечатан: Мысль и слово: Философский ежегодник/Под ред. Г. Шпета. — М., 1917. — Т. I. С. 416—421.
28. Шпетт Г. Философия и история // Вопросы философии и психологии. 1916. Кн. 134 (IV). С. 427—439.
29. Шпетт Г. Сознание и его собственник. — М., 1916. — См. также: Сб.: Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве, 1891—1916. Статьи по философии и психологии. — М., 1916. — С. 156—210.
30. Шпетт Г. Г. Комментарий к одной кантовской фразе (из «Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft», Vorrede)//Умов Н. А. Собр. соч./Под ред. и с прим. А. И. Бачинского. — М., 1916. — Т. III. С. 647—650.
31. Шпетт Г. Мудрость или разум? // Мысль и слово: Философский ежегодник / Под ред. Г. Шпета. — М., 1917. — Т. I. С. 1—69.
32. Шпетт Г. Философия Джоберти (По поводу книги В. Эрна «Философия Джоберти»). — Там же. — С. 297—367.
33. Шпетт Г. Некоторые черты из представления Н. О. Лосского о природе (По поводу кн.: Лосский Н. Материя в системе органического мировоззрения. — М., 1916). — Там же. — С. 368—374.
34. Шпетт Г. Фидензм проф. Хвольсона (По поводу брошюры: Хвольсон О. Д. Знание и вера в физике. — Пг., 1916). — Там же. — С. 386—388.
35. Шпетт Г. Юм Д. Исследование о человеческом уме / Пер. с англ. С. И. Церетели; 2-е изд. — Пг., 1916 (рец.). — Там же. — С. 394.

36. Шпет Г. Гиляров А. Н. Руководство к изучению философии. Философия в ее существо, значении и истории. Т. 1. — Киев, 1916. — Там же. — С. 394—400.
37. Шпет Г. Скептик и его душа: Этюд по философской интерпретации // Мысль и слово: Философский ежегодник/Под ред. Г. Шпета. — М., 1918—1921. — Вып. II. С. 108—168.
38. Шпет Г. Предмет и задачи этнической психологии // Психологическое обозрение. 1917. 1, 1 (с. 27—59), 1, 2 (с. 233—263); 1918. 1, 3—4 (с. 405—420).
39. Шпет Г. Философия Лаврова. «Вперед!» // Сб. статей, посвящ. памяти П. Л. Лаврова. — М., 1920. — С. 24—28.
40. Шпет Г. П. Л. Лавров и А. И. Герцен. — Там же. — С. 35—39.
41. Шпет Г. Философское мировоззрение Герцена. — Пг.: «Колос», 1921.
42. Шпет Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии // П. Л. Лавров: Статьи. Воспоминания. Материалы. — Пг., 1922. — С. 73—138.
43. Шпет Г. Очерк развития русской философии. Ч. I. — Пг.: «Колос», 1922. — См. также: Шпет Г. Сочинения. — М., 1989. — С. 11—342.
44. Шпет Г. История как предмет логики // Научные известия. Сб. 2: Философия. Литература. Искусство. — М., 1922. — См. также: Историко-философский ежегодник. 1988. С. 290—320.
45. Шпет Г. Театр как искусство // Мастерство театра. 1922. № 1. С. 31—55. — См. также: Вопросы философии. 1988. № 11. С. 77—91.
46. Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Вып. I—III. — Пг.: «Колос», 1922—1923. — См. также: Шпет Г. Сочинения. — М., 1989. — С. 345—472.
47. Шпет Г. Проблемы современной эстетики // Искусство. 1923. № 1. С. 43—78.
48. Шпет Г. К вопросу о постановке научной работы в области искусствоведения // Бюллетени ГАХН. 1926. № 4—5. — М., 1927.
49. Шпет Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта. — М., 1927.
50. Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. Вып. 1. — М., 1927. — См. также: Шпет Г. Сочинения. — М., 1989. — С. 475—574.
51. Шпет Г. Литература // Уч. записки Тартуского гос. университет. «Труды по знаковым системам». Т. 15. — Тарту, 1982. — С. 150—158.
52. Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст, 1989: Литературно-теоретические исследования. — М., 1989. — С. 231—267; Контекст, 1990: Литературно-теоретические исследования. — М., 1990. — С. 219—259. — (Продолжающееся издание).

II. ПЕРЕВОДЫ ФИЛОСОФСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1. Вольтман Л. Система морального сознания в связи с отношением критической философии к дарвинизму и социализму / Пер. с нем. В. Михайлова и Г. Шпета; Под ред. М. М. Филиппова. — СПб., 1901.
2. Эйслер Р. Основные положения теории познания/Пер. с нем. Г. Шпета. — Киев, 1902.
3. Риккерт Г. Введение в трансцендентальную философию. Предмет познания/Пер. со 2-го нем. изд. Г. Шпета. — Киев, 1904.
4. Дицген И. Теория познания в свете марксизма / Пер. с нем. В. Будзиловича; Под ред. Г. Шпета. — Киев, 1907. — (Издание снабжено краткими подстрочными примечаниями Г. Шпета).
5. Бинз А. Современные идеи о дегтях/Пер. с франц. под ред. Г. Г. Шпета. — М., 1910.
6. Джемс В. Вселенная с плюралистической точки зрения / Пер. с англ. Б. Осипова и О. Румера; Под ред. Г. Г. Шпета. — М.: «Космос», 1911.
7. Энриквес Ф. Проблемы науки. Ч. I/Пер. с итал. под ред. А. И. Бачинского и Г. Г. Шпета. — М., 1911.
8. Бозанкет Б. Основания логики: Популярные лекции/Пер. с франц. под ред. Г. Шпета. — М.: «Гермес», 1914.
9. Стаут Дж. Ф. Аналитическая психология. Т. 1 / 2-е изд.; Пер. с англ. А. К. Рачинского; Под ред. Г. Г. Шпета. — М. — Пг., 1923.
10. Дильтей В. Описательная психология / Пер. с нем. Е. Д. Зайцевой; Под ред. Г. Г. Шпета. — М., 1924.

III. ПЕРЕВОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КОММЕНТАРИИ К НЕЙ

1. Байрон Д. Г. Мистерии/Пер. с англ. размерами подлинника и прим. Г. Шпета. — М.—Л.: «Academia», 1933.
2. Диккенс Ч. Тяжелые времена/Пер. с англ. Г. Шпета; Гравюры В. Фаворского. — М.: ОГИЗ, 1933.
3. Диккенс Ч. Холодный дом (Для детей старшего возраста и подростков) / Сокр. пер. Г. Шпета. — М., 1933.
4. Теккерей У. М. Собр. соч.: В 2 т. / Под ред. Г. Г. Шпета. — М.—Л.: «Academia», 1933—1934. — Ярмарка тщеславия: Роман без героя. Ч. 1—2/ Вступ. статья Д. Горбова; Пер. М. А. Дьяконова; Прим. Г. Г. Шпета. — М.—Л., 1933—1934.
5. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба: В 3 т./Пер. с англ. А. В. Кривцовой и Е. Л. Ланна. При участии и с коммент. Г. Г. Шпета. — М.—Л., 1933—1934; Шпет Г. Комментарий к «Посмертным запискам Пиквикского клуба». — М.—Л.: «Academia», 1934. — Т. 3.
6. Диккенс Ч. Тяжелые времена / Пер. с англ. Г. Г. Шпета (на титульном листе фамилия переводчика не указана); Под ред. Д. А. Горбова. — М.—Л., 1935.

И. Л. БЕЛЕНЬКИЙ

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ О Г. Г. ШПЕТЕ

- [Архив Г. Г. Шпета] // Записки отдела рукописей / ГБ СССР им. В. И. Ленина. — М., 1978. — Вып. 39. С. 145—146.
- Асмус В. Ф. Шпет Г. Г. // Философская энциклопедия. — М., 1970. — Т. 5. С. 519—520.
- Асмус В. Философия языка Вильгельма Гумбольдта в интерпретации проф. Г. Г. Шпета // Вестник Коммунистической академии. 1927. № 23. С. 250—265.
- О книге Густава Шпета «Внутренняя форма слова» (Этюды и вариации на темы Гумбольдта). — М.: ГАХН, 1927. — 219 с.
- Вашестов А. Г. Концепция «новой» культуры Г. Г. Шпета: критический анализ // IV Всесоюзные философские чтения молодых ученых: Тезисы докл. Вып. 3: Философия, политика, культура. — М., 1984. — С. 87—90.
- Вашестов А. Г. Критика феноменологического метода Г. Г. Шпета//Некоторые вопросы историко-философской науки. — М., 1984. — С. 51—59.
- Вашестов А. Г. Феноменологическая философия в России: критический анализ: Автореф. дис. ... канд. филос. наук/МГУ. — М., 1985. — 16 с.
- Всесоюзная научная конференция «Творческое наследие Г. Г. Шпета и современные гуманитарные исследования», 9—11 апреля 1991 г.: Тезисы докл./Под ред. О. Г. Мазаевой. — Томск: ТГУ, 1991. — 171 с.
- Гусева А. В. Концепция исторического сознания Г. Г. Шпета // IV Всесоюзные философские чтения молодых ученых: Тезисы докл. Вып. 10: К. Маркс и современность: философия, социология, идеология. — М., 1984. — С. 48—50.
- Иванов В. В. Шпет Г. Г. // Краткая литературная энциклопедия. — М., 1975. — Т. 8. Стлб. 782—783.
- Ивановский В. Н. Логика истории как онтология единичного // Труды Беларус. ун-та. — Минск, 1922. — № 1. С. 14—25; № 2—3. С. 35—49. — В связи с книгой Г. Шпета «История как проблема логики». — М., 1916.

- Митюшин А. А. О статье Г. Шпета «Литература» // Труды по знаковым системам. — Тарту, 1983. — Т. 15. С. 149—158.
- Митюшин А. А. Принципы этнической психологии в трактовке Г. Г. Шпета // Сов. этнография. 1989. № 6. С. 67—75.
- Митюшин А. А. Психологические взгляды Г. Г. Шпета // Вестник МГУ. Сер. Психология. 1988. № 2. С. 33—42.
- Митюшин А. А. Творчество Г. Шпета и проблема истолкования действительности // Вопросы философии. 1988. № 11. С. 93—104.
- Митюшин А. А. Шпет и его место в истории отечественной психологии // Вестник МГУ. Сер. Психология. 1988. № 2. С. 33—42.
- Пастернак Е. В. Памяти Густава Густавовича Шпета // Вопросы философии. 1988. № 11. С. 72—77.
- Поливанов М. К. О судьбе Г. Г. Шпета // Вопросы философии. 1990. № 6. С. 160—164.
- Свасьян К. Густав Густавович Шпет // Литературная газета. 1990. № 7. С. 5.
- Серебрянников Н. В. Новые данные о гибели Г. Г. Шпета // Русская мысль (Париж). 1989. 2 июня.
- Стахорский С. Густав Шпет // Совр. драматургия. 1991. № 5. С. 197—202.
- Федорова Л. В. Г. Г. Шпет как историк русской философии: Автореф. дис. ... канд. филос. наук / АОН. — М., 1991. — 21 с.
- Федорова Л. В. Неизвестная работа о П. Л. Лаврове // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. — М., 1990. — Вып. 5. С. 153—155. — Статья Г. Г. Шпета «Философия Лаврова».
- Юшманова Т. Н. Семиотическая модель культуры в философско-эстетической концепции Густава Шпета // Некоторые вопросы истории и теории эстетики: Филос.-эстет. сб. — М., 1981. — Вып. 4. С. 16—27. — В оглавлении: Эстетическая герменевтика Густава Шпета.

М. ВЕНДИТТИ

ОБ ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА Г. Г. ШПЕТА В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

Серьезный интерес к творчеству русского философа Г. Г. Шпета (1879—1937) возник в западной науке только в 80-х годах. В Италии, как и вообще на Западе, труды Шпета известны только среди славистов, изучающих русскую мысль 20-х годов, и в основном благодаря упоминанию их в работах Р. Якобсона, М. Бахтина, Л. Выготского и других ученых. Изучение творчества Шпета за рубежом затруднено в связи с отсутствием переводов его произведений, и поэтому доступно только исследователям, хорошо знающим русский язык. Одна из них — Э. Фрейбергер (Государственный колледж, Глассборо, США) сообщает, что ею переведена книга Г. Г. Шпета «Герменевтика и ее проблемы» (1918) на английский язык, но перевод пока еще не опубликован. Она пишет также, что осуществила перевод книги «Явление и смысл» на немецкий и английский языки. Данный перевод распространялся среди участников конференции в Германии (1986), посвященной творчеству Г. Г. Шпета. Годом раньше на конференции славистов в Америке изучение творческого наследия Шпета стало темой работы одной из секций.

В Италии в этом году готовятся к публикации в специальных журналах несколько работ Г. Г. Шпета, перевод которых на итальянский язык осуществили М. Вендитти и К. Гидини. Но пока о серьезной традиции в шпетоведении на Западе говорить, видимо, рано, ибо научная литература о творчестве Г. Г. Шпета включает лишь отдельные статьи и доклады немногих исследователей.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА О ШПЕТЕ И ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ*

1. *Freiberger-Sheikoleslami E.*, «Philosophical Linguistic: Humboldt and Shpet. (A semiotic theory of inner form)», Penn Linguistic Colloquium, Jan. 1983; Penn Review of Linguistic, vol. 7, 1983, pp. 95—105.
2. *Freiberger-Sheikoleslami E.*, «Gustav G. Shpet», 8th Annual Meeting of the SSA, Snowbird, Utah, Oct. 1983. In *Semiotics 1983*, J. Deely and J. Evans ed. (Univ. Press of America, 1987) pp. 145—154.
3. *Freiberger-Sheikoleslami E.*, «Gustav G. Shpet: Hermeneutical logic and philosophical semiotics», 9th Annual Meeting of the SSA, Bloomington, Ind., Oct. 1984. In *Semiotics 1984*, J. Deely and J. Evans ed. (Univ. Press of America, 1985).
4. *Freiberger-Sheikoleslami E.*, «Spels Beitrag zu einer semiotischen Aesthetik», Intern. Shpet Symposium, Bad Homburg, June, 12—15, 1986. pp. 1—9.
5. *Freiberger-Sheikoleslami E.*, «W. v. Humboldt and G. Shpet: The Inner Form of the Word», XIV International Congress of Linguists in Berlin, DDR, Aug. 10—15, 1987.
6. *Freiberger-Sheikoleslami E.*, «Gustav G. Shpet: Semiotics and Hermeneutics» in *Semiotica Austriaca*, Jeff Bernard ed., Wien: OGS, 1987.
7. *Freiberger-Sheikoleslami E.*, «Gustav G. Shpet's theory of interpretation as a theory of understanding», American contributions to the tenth International Congress of Slavists, Sofia, Sept. 1988, Literature, J. Gary Harris ed., Slavica, pp. 167—172.
8. *Freiberger-Sheikoleslami E.*, «Gustav G. Shpet: phenomenological semiotics and hermeneutics», in *Theory and practice semiotics*, Berlin/New York, Amsterdam, M. de Gruyter, 1988, pp. 270—272.
9. *Haardt A.*, «Phanomenologie und strukturelle Sprachanalyse bei Gustav Špet. Zur russischen Husserl-Interpretation der zwanziger Jahre», in *Sprache, Wirklichkeit, Bewußtsein, Phanomenologische Forschungen*, B 21, Verlag Karl Alber ed., Freiburg/München, 1988, pp. 167—198.
10. *Steiner P.*, «Gustav Shpet et l'Ecole de Prague», in *Centers et Peripheries: Bruxelles Prague et l'espace culturel europeen*. Liege, R. vervinckt, 1988.

ПЕРВЫЕ ШПЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

9—11 апреля 1991 г. в Томске проходила конференция «Творческое наследие Г. Г. Шпета и современные гуманитарные исследования». Конференцию организовали Томский университет, Вольный гуманитарный семинар (ВГС), местные отделения Философского общества и Советского Фонда культуры при поддержке областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, приурочив ее ко дню рождения философа (7 апреля 1879 г.).

Г. Г. Шпет отбывал ссылку в Енисейске, а в декабре 1935 г. ему позволили перебраться в Томск. Здесь опальный философ подвижнически перевел «Феноменологию духа» Гегеля. 27 октября 1937 г. Шпет вновь был арестован органами НКВД и 16 ноября расстрелян.

С апреля 1989 г. ВГС и общество «Мемориал» прилагают усилия, чтобы увековечить память русского мыслителя. В ноябре 1989 г. были проведены Дни Шпета в Томске, во время которых перед городской интеллигенцией с рассказом о судьбе и творчестве философа выступил его внук и первый биограф М. К. Поливанов; воспоминаниями о своем отце поделилась М. Г. Шторх.

* Статьи Э. Фрейбергер (1, 4—8) и статья П. Штейнера (10) опубликованы в сборнике «Шпетовские чтения в Томске, 1991» (Томск: Изд-во Томского ун-та, 1991).

На доме, где жил Шпет, была установлена мемориальная доска, изготовленная на средства студентов и преподавателей Томского университета. С 1990 г. ВГС учредил две премии имени Г. Г. Шпета за лучшие студенческие работы по проблемам русской философии.

Благодаря выходу в свет однотомника, составленного Е. В. Пастернак, идеи Шпета очень скоро стали достоянием восприимчивых гуманитариев, занимающихся проблемами феноменологии, герменевтики, этнопсихологии, семиотики, лингвистики, истории философии. Это способствовало успеху состоявшейся конференции. В работе конференции приняли участие специалисты из десяти городов нашей страны и двух городов Италии.

К открытию Шпетовских чтений издательство Томского университета выпустило сборник, содержащий тезисы 27 докладов и переводы 7 статей американских исследователей Шпета 80-х годов, выполненные студентами философского факультета и преподавателями ТГУ*.

Конференция приняла решение, которое предусматривает: проведение Шпетовских чтений каждые 3—4 года в г. Томске; формирование международной комиссии по творческому наследию Шпета, печатным органом которой должен стать альманах «Шпет/Comprehensio»; создание при областной библиотеке Шпетовского фонда, задачей которого является сбор материалов, касающихся жизни и творчества философа**.

О. Г. Мазаева, Б. Н. Пойзнер

* Заявки на сборник можно направлять по адресу: 634029, Томск, улица Никитина, 4. Издательство ТГУ.

** Адрес для переписки: 634034, Томск-34, ул. Учебная, 20, кв. 38. Б. Н. Пойзнеру. Тел. 492-722, 909-130 (сл.). О. Г. Мазаева: тел. 789-041, 232-355 (сл.).

Всероссийский благотворительный Фонд культуры, науки и искусства «Рось» существует с сентября 1991 г. Учредителями его выступают представители творческой интеллигенции России. Целью, определяющей его возникновение и деятельность, является возрождение и развитие отечественной культуры.

Учреждение и издание религиозно-философского журнала «Начала» — одна из первых акций по осуществлению ряда программ Фонда.

Финансирование своих благотворительных программ Фонд «Рось» осуществляет прежде всего благодаря деятельности его предпринимательских структур. С большой благодарностью Фонд принимает добровольные взносы и пожертвования.

Наш счет: Мосстройэкономбанк, р/с 700956 МФО 20157. Всероссийский Фонд культуры, науки и искусства «Рось».

Редактор *Р. М. Белозерова*
Техн. редактор *В. Н. Горячева*
Корректор *Е. А. Петрова*

Сдано в набор 24.02.92. Подписано в печать 24.03.92. Формат 60×90^{1/16}.
Бум. тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 6,00.
Уч.-изд. л. 7,50. Тираж 5000. Зак. 8111/112. С8.

Издательство МАИ
125871, Москва, Волоколамское шоссе, 4

Типография издательства МАИ
125871, Москва, Волоколамское шоссе, 4